

ГАЛИНА ШЕЙНИНА

**С ДЕГТЯРНОЙ УЛИЦЫ –
ШАГАЯ ПО ВЕКАМ**

ГАЛИНА ШЕЙНИНА

С Дезтярной улицы –
шагая по векам

Иерусалим 2015

ГАЛИНА ШЕЙНИНА.
С ДЕГТЯРНОЙ УЛИЦЫ – ШАГАЯ ПО ВЕКАМ.

Моим дорогим родителям

Редактор: Мириам Китросская
Дизайн: Г. Блейх

В оформлении обложки использован рисунок Галины Шейниной

По вопросам приобретения и распространения
mkitrossky@gmail.com

© Галина Шейнина, Иерусалим, 2015.
Все права на текст, фотографии, иллюстрации и дизайн принадлежат
составителю. Любое цитирование только с указанием названия книги.
Любой вид копирования и тиражирования текста, фотографий, дизайна,
иллюстраций – только по согласованию с составителем.

Отпечатано в типографии «Ной», Иерусалим.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТИХИ. ПРИ ЧЕМ ТУТ СТИХИ? / 9
НАЧАЛО СВЕТА / 9
РАЕКЛА, РАХА, БАБА РАЯ, БАБКА / 10
ДЕТСКИЙ САД / 13
СКАРЛАТИНА / 13
НЕМКА / 15
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ / 16
ТИТА / 26
ПАПИН АРЕСТ (1) / 30
ВОЙНА / 35
ЭВАКУАЦИЯ. КАРЕ́ГА / 37
АСТРАХАНЬ / 46
ДОМА / 60
ТЕТЯ СОНЯ, МАМА, НАТАЛЬЯ И МЫ С АЛЕЧКОЙ НА ФОНЕ ЭПОХИ / 63
РОШАЛЬ / 71
ПАПИН АРЕСТ (2) / 86
ВТОРОЙ ЗАХОД / 92
МОЙ КОНДУИТ / 100
ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ / 103

ГЕРМАНИЯ И НЕМЦЫ / 106
КОЛЫМА / 110
УНИВЕРСИТЕТ / 122
АНТИСЕМИТИЗМ / 132
МЫ И ОНИ / 136
РАЗГОВОРЫ С С.А. ЖЕЛУДКОВЫМ / 158
«САМА» / 165
ДАЧА / 171
ПРОШАНИЕ С ПИТЕРОМ / 173
УХОД. ПИСЬМА ПРО АЛЕЧКУ / 177
МИТОХОНДРИЯ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) / 199
ФОТОГРАФИИ. 1937-2014 / 201

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОЙ ЖИЗНИ.
Семейный шуточный альбом,
сделанный к 80-летию Адольфа Равделя / 219

СТИХИ. ПРИ ЧЕМ ТУТ СТИХИ?

Я не поэт, и не потому, что не умею писать стихи, а потому, что я не живу стихами. Я годами не пишу и не испытываю вины ни перед собой, ни перед белой бумагой. Круг моих читателей невелик, и я не рвусь его расширять. Если возникает строчка, я не бегу к столу, пока не доварю суп, не досмотрю новости, не сбегая в магазин, а строка тем временем куда-то девается. Когда пишу, не знаю, откуда приходит размер, что будет дальше, чем кончу. В общем, как Бог на душу положит. Пусть и «отрывки» пишутся так же – без специальной композиции и жанра. И если я не допишу их или оставлю что-то в стороне – по любой причине – это неважно.

НАЧАЛО СВЕТА

Мне 2,5 года. Дача. Мы с кузиной Наткой сидим в кроватках. Приятный, но резкий запах. Приходит Наткина няня. Что-то не так. Нас выводят во двор неодетыми. Красное. Костер до неба. Желтое. Из кустов на четвереньках выползает бабушка. Ура, приехала! Она рычит. Это не бабушка, это волк! Меня куда-то везут. Белое. Мама плачет. Папины руки. Значит, все прошло.

4-5 лет. Я умею читать. Все в восхищении, но домашние запрягают меня это демонстрировать. Им за это влетит, потому что мне это вредно. Я часто простужаюсь, и меня долго держивают в постели, но читать лежа не дают, а это так приятно. Встаю и босыми (!) ногами по холодному (!) полу иду за книгой. Что будет! В уборную тоже не пускают. Ужас горшка. А вообще-то хорошо: не заставляют есть, дают морс, приносят пирожные, не будят по утрам.

РАЕКЛА, РАХА, БАБА РАЯ, БАБКА

В один такой день открывается дверь и входит маленькая милая женщина, моя новая няня Рая. Да она еще лучше моей бывшей любимой няни Дуни Дубасовой! Дуня ушла от нас учиться в техникум. Я очень гордилась этим, так как папа и мама с ней занимались, а я, по Дуниным уверениям, помогала ей читать. После Дуни у меня недолго была другая няня, которую я возненавидела, потому что она называла пипку писью. Рая подошла поцеловать меня, я ее крепко обняла, и мы обе поняли, что это на всю жизнь. Рая сразу принялась мыть и натирать пол с необыкновенной быстротой. Я никогда такого не видела – тогда она, складная и нетолстая, показала мне свои мускулы на руках – это были мощные твердые шары! Поэтому я прозвала ее Раёклой («ё» с точками и ударением), производное от Раи и Геракла. Потом, правда, Раекла перешла в Раху, а когда родились мои дети – просто в бабку.

Наконец-то у меня есть настоящая няня! А то что это – у кузины Натки и кузена Бори есть няни с самого рождения, и не просто няни, а ЧЛЕНЫ СЕМЬИ, а я что, хуже?

Уже на следующий день она мне все рассказала – про неудачное замужество, про умершего сыночка, про Скегиных, своих первых хозяев, и их детей Арончика и Соню, про племянников Витальку и Володьку, про всех своих братьев и сестер. Мы, дети, ее обожали, и взрослые родственники и знакомые тоже души в ней не чаяли.

Вместе с мамой Раха проводила папу Адольфа в тюрьму, по очереди они стояли ночами на Шпалерке, чтобы отдать передачи, и кто как не Раха пекла знаменитые пироги с вишней, когда отец вернулся?

Вот отрывки из моего выступления в бабкин восьмидесятилетний юбилей:

«...Раха водит меня в школу, Раха пишет со мной палочки и Раха встречает нас у калитки дачи 22 июня 1941 года, когда мы с Наткой возвращались с нашими отцами с беспечной

воскресной прогулки. «Война началась! Молотов выступал!» Мы – в рев! «Папа, а тебя возьмут на фронт?» – «Я уже на фронте, доченька», – отвечает военный папа. «А тебя убьют?» «Матвеевна, уберите эту дуру», – это уже добрейший дядя Шура, Наткин папа.

...И война, и эвакуация, Астрахань и мы, пять баб (мама с сестрой, ненавистной теткой Сонькой, мы с Наткой и Раха), и один кормилец с военным пайком – папа. Остальным по карточкам дают только 400 г хлеба...

...Я возвращаюсь из школы. Это километра три по морозу. Я отчаянно хочу есть. Одна мысль: дома ли тетка Сонька? Она у нас ведает провиантом. Раха берет из мешочка две ложечки серой пайковой муки, замешивает на воде и печет мне «подошву». А чтобы тетка Сонька, которую она тоже ненавидит, не заметила, она берет перышко и замечает муку в мешке. Мы с ней преступницы. Но иначе до общего обеда мне просто не дожить! Тетка все делит нам с Наткой поровну, но я на голову выше Натки и как назло расту изо всех сил. И Раха тетку критикует, не жалея выражений.

...Время летит, и вот я в роддоме, и Рая присылает мне молодую редиску с картошкой и записку: «Не могу дождаться поглядеть на дорогую крошечку». Дома я болею и сдаю госэкзамены, и баба Рая возится с «сынушкой», приговаривая: «тяпочки-ляпочки», а когда купаем – «с гуся вода, с Димочки вся худоба». Первые шаги – и другие приговорки: «Ах ты, мой топотунчик, идет, как стаканчик!». А когда он чуть подрастает, на ночь поет то, что пела и мне: «Ну, ребятки, марш в кровати, спать пора ложиться. Перед сном после еды надо умыться», и т. д.

...Но вот поступает сообщение, что ожидается Мариночка. Баба Рая реагирует в своем стиле: «Ах, черт-те надавал! Нет, хватит. И не подойду!» Когда Мариночку приносят из

роддома, Рая разворачивает ее, дрожа от нетерпения, и говорит изумленным шепотом: «А эта еще лучше!» И вот уже правнуки – Оля, Лия, Элишева, Машенька – пузырьковы, красавицы, из ума сложены. И тяпочки-ляпочки; ну, ребятки, марш в кровати; палочки в тетрадке.

Пусть всегда будет бабка!»

А бабка сидела с мокрыми глазами во главе праздничного стола, у которого собралось человек двадцать, и повторяла: «Вот какая мне честь, вот как меня уважают! Спасибо вам, родные мои!»

У бабы Раи был очень выразительный язык, к которому мы так привыкли, что и по сю пору не замечаем, что сами употребляем ее диалектизмы. А поговорки! Не пожалуешься. Скажешь: «Холодно!» – последует ответ: «Холодно – не оводно, оводов нет и не укусят». «Голова болит!» – «Голова болит – жопе легче.» – «Где мой портфель?» – «Да вот он. Возьми глаза в зубы!» Кто-то кому-то скажет «Дура!» – Раха прокомментирует: «Дура-то огонь вздула, а умный подошел да жопу сжег». Или: «Мал золотник, да дорог. Велика Федула, да дура». А то и емкий семейный кодекс: «Муж жену учи без детей, а детей без людей». А после еды сядет пригорюнившись и вздыхает стихами: «Наелся как бык, не знаю как быть». Или: «Ну и ши! Хоть жопу полощи». Еще: «Удивительно, Марья Дмитриевна, чай пила, а брюхо холодное».

Ее знаменитые анекдоты мы рассказываем до сих пор: «Папаша, а наш поезд не уйдет? – Ты что, Колька! Билеты-то вот они!» На все случаи жизни у нее находились аналогии из ее деревни.

Не было человека среди всех родных и знакомых, который бы ее не любил, несмотря на то, что она могла выразиться весьма нелицеприятно. Она умерла в 1991 году в возрасте 86 лет, прожив 27 лет после операции по поводу рака. Ее отпевали в Спасо-Преображенском соборе в Ленинграде, а хоронить мы ее повезли в родную деревню Шейно, где она и лежит возле своих родителей.

ДЕТСКИЙ САД

Детский сад я любила, а ходить в него терпеть не могла. Будят, поднимают в еще нетопленной комнате, вода в кране ледяная, одевают в сорок одежек, а на улице велят дышать только носом, который вечно забит соплями. Рая ворчит: «Зачем ребенка мучают, если я все равно дома?» Я-то знаю зачем: мне нужен коллектив. Я вхожу в коллектив и вижу, как мой жених Вилька Курманаев обнимает мою бывшую подругу Кирку Родионову. Вынести это невозможно, хочется бить их и плакать, но я не буду. У Кирки светлые локоны, голубые глаза, черные ресницы и брови, что делает ее высшим существом. К тому же она старше и выше меня. Я ее обожала. На днях она сказала: «Хочешь, я скажу тебе секрет? Я ненавижу жидов, – тут она остановилась, взгляделась в меня и убедилась, что я понимаю ее слова, – но не таких, как твоя морда». Для убедительности она меня поцеловала. Ошарашенная, я рассказала это Вильке. «Ну и что? Нас с братом вечно татарами обзывают, а родители велят не обращать внимания.» Вот как, Вилька, оказывается, татарин, как наш дворник, неграмотный Амин, но Вилька очень грамотный, мы с ним вместе по секрету читаем в мертвый час, и Вилька считает, что нельзя говорить «мертвый», почему не сказать «сонный»? Про Вильку дальше не помню, а Кирка уже в школе появилась в моем классе, оставленная на второй год и всеми за это презираемая.

СКАРЛАТИНА

В те годы это была самая страшная из детских инфекций. Немало детей умирало от нее или от разнообразных осложнений, особенно на почки. Уже в 50-е годы, когда рос мой сын Дима, микроб как-то скукожился и часто даже не вызывал температуры. Тогда же ребенка обязательно клали в больницу

не столько для лечения – его практически не было – сколько для изоляции. Вещи, которыми пользовались больные дети, уничтожались, посетители не допускались. А ведь карантин был несколько недель!

И вот я заболела. В первый же день, вероятно до диагноза, я была в бреду, но помню, как кричат: «Сорок один!», и понимаю, что это означает, но все далеко и все время растет. Слышу знакомые голоса, но никого не узнаю. Потом, наверное, отключаюсь и снова появляюсь, когда на меня льют ледяную воду. Крики: «Воспаление легких!» – тоже в те годы страшная болезнь – и папин грозный громкий шепот: «Вон отсюда! Все!» Мы остаемся вдвоем. Папины мягкие руки. Он все время льет холодное. Потом папа объяснил мне, что, хотя дома находились два врача, в том числе моя тетка – инфекционист, в критический момент папа позвонил ее мужу, психиатру дяде Шуре, и последовал его совету.

В больнице было неплохо – вкусные передачи, я выдумываю разные сказки, и все меня слушают, разрешают читать лежа. Из дома книги передавать нельзя, так как их потом уничтожат, а они, как и все – дефицит. Поэтому папа, прекрасный рисовальщик, перерисовывает (один к одному!) и переписывает для меня две книжки: «Почта» Житкова и «Мистер-Твистер» Маршака. Я очень горжусь папой и читаю книжки вслух. И это тоже разрешается.

Однажды к одной девочке пришла мама. Палата подняла рев, требуя и своих мам. Врач объяснила, что девочка очень больна, и чтобы мы не шумели. Мама даже осталась ночевать на раскладушке, чему мы остро завидовали. Потом около девочки кровати поставили ширму, и вскоре девочку перевели в другую палату. Нянечка ходила сердитая и молчаливая, да и мы притихли. Когда и к другой девочке стала ходить мама, мы уже не завидовали.

НЕМКА

Ко мне ходит училка с очень немецким именем (пусть будет Гертруда) и русским отчеством Ивановна, в просторечии немка. Я недолюбливаю ее и ее уроки. Она старая и у нее кислое выражение лица. Я чувствую, что она меня не одобряет. Я рада, когда она уходит. Однажды мама говорит: «Как? Ты не провожаешь Гертруду Ивановну? Но это же невежливо!» Вежливо, невежливо... Играть охота! Но я иду. Немка долго копается в прихожей, что-то надевая, наматывая и сохраняя при этом неодобрительное выражение лица, и вдруг оказывается в какой-то рванине с клочками меха. Я рассказываю маме, и та грустно говорит: «Она просто бедная». Бедная? Я знаю бедных, они ходят с черного хода, и им дают еду, а иногда даже старые вещи; что же, и немка так же ходит за вещами? Но почему тогда она всегда отказывается, когда ее приглашают к столу? Мама объясняет, что она гордая, но Раекла добавляет, что она из благородных. «Рая, не говорите глупостей!» Но я верю Рае, она сама служила у благородных. Кто они? Такие, как Кирка Родионова? Или как мы? Вот Тита говорила, что фамилии дедушки и бабушки – Равдель и Златопольская – благородные. Спросить боюсь. Скорее всего, не одобряют.

Не знаю, как насчет благородства, но мы наверняка богатые. Я ем пирожные, сопровождаемые, правда, словами «только для детей», у нас целых две комнаты, да и квартира почти отдельная (только родственники), а недавно мне и вовсе перелицевали пальто из маминого и воротник поставили из суслика, комбинированного с материалом. Я никогда не хочу есть и потихоньку выкидываю пищу куда могу. Когда Раекла обнаруживает это, она страшно сердится: «Совести у тебя нет! Народ голодает, а она... Отдала бы лучше Ли Дзынтину, он все по помойкам роется!» Как же, пустят меня к Ли Дзынтину, мне и играть-то с ним не разрешают, говорят, что я вшей наберусь, потому что китайцы не ходят в баню.

Его отец работает прачкой в нашей дворовой прачечной под аркой. Прачка-подарка.

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ

Немецкий, однако, оказался полезным не только в большой жизни, но и прямо тогда: я с невинным видом прислушивалась к секретным разговорам, для которых взрослые переходили на немецкий или на очень примитивный еврейский (так тогда называли идиш). Например, мамина подруга рассказывала вполне по-русски про своего мужа, что он поехал *гелд махен*, а потом *церрист аллэ гелд ин клочья*. Меня это впечатлило.

Однажды, когда я, как обычно, болела, то есть имела сопли и температуру 37, у моей постели собрались две бабушки: приходящая Роза Сауловна Маршова (мамина) и живущая в моей квартире Розалия Исаевна Равдель (папина). Бабушка Маршова сказала «*Шен ви gold!*» Бабушка Равдель согласно кивнула. Спасибо немке, я теперь знаю, что я красивая! Мне и раньше так казалось, но я была уверена, что всем людям нравится свое отражение в зеркале, и я не исключение. Бабушка Маршова часто говорила на еврейском, но ее все останавливали, и она, ворча, переходила на русский, на котором говорила с акцентом и ошибками. Бабушка Равдель подчеркивала, что в ее семье никогда не говорили по-еврейски (могло ли это быть? Ведь она родилась в 1875 году где-то на юге России). Но она знает немецкий, а потому понимает еврейский, ведь это всего лишь испорченный немецкий. И зачем ОНИ его портили...

Ходить к бабушке Маршовой домой было необыкновенным событием. Мы часто навещали ее с Раеклой во время обязательных ежедневных прогулок. Бабушка жила поблизости от нас недалеко от Овсянниковского садика, и мы пользовались каждым случаем у нее отогреться. Раекла шла к бабушке, а я просила разрешения побродить по лестнице этого потрясающего дома. Он и сейчас стоит на углу моей Дегтярной и 2-й Советской и весь сверкает после шикарного ремонта. Шести-этажный дом с эркерами, венецианскими окнами и угловой башенкой был впечатляющим. В него вела мощная темно-красная дверь (не удивляйтесь моей памяти, я ходила туда раза два в неделю и изучала все подробности, а перед эвакуацией в июле 1941 года

бегала туда прощаться, хоть бабушка и была в больнице). По обе стороны двери были вкопаны гранитные тумбы – лошадей привязывать. Потом вы попадали в холл, украшенный лепниной, с кафельным полом и люстрой. На мраморной лестнице были бронзовые пупочки, а кое-где и прутья, когда-то державшие ковровую дорожку. Вдоль лестницы шли чугунные витые решетки с гладкими деревянными перилами, а сама лестница была очень пологой, несмотря на высокие потолки. Но главные чудеса начинались на площадке между этажами. Оттуда изливались разноцветные блики. Это был витраж с темно-красными, темно-зелеными, темно-синими и темно-оранжевыми стеклышками (вот только желтый зачем? Я его не любила). В каждом углу было углубление с каменным сиденьем и лепными ручками. А над ними – зеркала! Мама всегда удивлялась, почему меня не оттащить от этой красоты. Ведь меня же водили в Эрмитаж. Вот где красота! В Эрмитаже! Там же музей, что удивительного, а это ПРОСТО дом, где пахнет блинами и борщом, а в коммунальных квартирах живут обычные люди, а не цари.

Бабушка жила на втором этаже, а третий был похож на второй, только пожиже. На четвертом не было ни сидений, ни витражей, а пятый и шестой вообще были как на черном ходу у нас дома на Дегтярной с простыми железными перилами и крутыми каменными ступенями. На лестнице был лифт. Но не работал. Говорили – отключен.

Бабушкина квартира была не похожа на лестницу. Это была многокомнатная коммуналка. В просторную прихожую выходили красивые филеночные двери из бывшей гостиной, а напротив была хамская одностворчатая дверь, выкрашенная коричневой краской (здесь и далее я буду использовать впечатления, полученные позже, когда я ходила к Инне Генделевич). Как я теперь понимаю, это были не «родные» двери, а результат каких-то перепланировок. Прихожая и два широких коридора были заставлены сундуками, велосипедами и пр. Висело расписание уборки. Как поведала мне по секрету бабушка и с ее слов Раекла, раньше вся квартира принадлежала бабушке. В ней было 13 комнат, две уборные, ванная с душем и душ без

ванной. Из коридора был вход в господские туалеты, из кухни двери вели в туалеты для прислуги. В господских туалетах и в послевоенные годы сохранились кафельные стены, полы из метлахской плитки и шикарная бронзовая «сантехника». Ванная была увешана разномастными полками. Кухня была громадная, тоже в кафеле и плитке, но закопченная множеством примусов и керосинок. «Как можно жить в 13 комнатах?» – спрашивала я. Бабушка водила меня по квартире и говорила: «Это Мишина, это Сониная, это Фанина, это спальня. Абрашин кабинет, моя рабочая, гостиная, столовая, для прислуги, Нянина, бельевая, гостевая...» Все равно не получалось. Примечательна была гостиная. Там жили родительские друзья Генделевичи, родители моей подруги Инны. Их поселили «в порядке самоуплотнения», чтобы не вселили пьяниц из передового класса. Это была необъятная комната с эркером, где стоял полновесный рояль, с лепным потолком, вделанными в стены зеркалами и наборным разноцветным паркетом, по которому мы ездили на попе. Бедные Генделевичи разгородили комнату ширмами, так как перепланировку им не разрешал архитектурный надзор. Бабушка жила в бывшей столовой. Комнату эту я любила. Там были старинные козетки, кушетки, угловые кресла, медные лампы, а главное – предметы бабушкиного рукоделия, которым она безостановочно занималась, вышивая и делая мережку на скатертях, салфетках, полотенцах, перешивая и штопая для всех родных и знакомых. Еще недавно у меня сохранялся холщовый вышитый пенальчик на перламутровых пуговках. Не знаю, куда запропастился.

Когда мы приходили, Раекла топила изразцовую печку, хотя в доме было такое чудо, как работающее паровое отопление. Потом бабушка или Раекла пекли блины, и мы ели их с бабушкиным вареньем. Во время наших частых визитов Рая всегда старалась помочь бабушке: принести овощи, сбегать за керосином, погладить.

Дома бабушка была уютной, мягкой и складной; в темном платье с разнообразными фартуками, которые она меняла по 2–3 раза на дню, а потом кипятила.

13-ти лет, вернувшись из эвакуации, я при первой же возможности побежала смотреть дом. Он стоял с фанерой вместо вылетевших от бомбежек окон, закопченный и щербатый от обстрелов. Но стоял. Не было ни витражей, ни зеркал, ни лепнины, ни дверей. Что-то стопили, что-то пострадало от близких бомбежек, что-то украли и, может быть, купили хлеба. Я не расстроилась. Как я уже упоминала, после перестройки дом отремонтировали. При попытке проникнуть на лестницу я натолкнулась на консьержа, то-бишь охранника, прекрасно одетого и любезного. Он объяснил, что без согласия жильцов он пустить меня не имеет права, но разрешил поглазеть, не отходя от места. Холлу и лестнице был сделан ремонт – стеклопакеты, современная плитка, люминесцентные лампы. Что ж, новые времена, новые новые русские, новые интерьеры. Дом для этого и строился, и стоит, слава Богу, сто лет. И еще сто простоит. Будучи в Питере в 2006 году, я отправилась его повидать. Он как-то облез за прошедшие 10–15 лет, на грязноватой двери домофон, в первом этаже магазин «Дикси».

Я любила ходить к бабушке, но совсем не любила, когда она приходила к нам, особенно, когда были гости. Я стеснялась ее разговоров, ее вида, большого живота (мы с Наткой называли его «бабушкино пузо»), к тому же мне было стыдно, что я ее стесняюсь. Приходы бабушкины были драматическими. Сперва она должна была пройти шесть маленьких кварталов и после появлялась на нашей лестнице одышливая, растрепанная, в расстегнутом пальто, едва ковыляя на отечных ногах. Рая всегда сбегала к ней, спеша помочь. Усевшись наконец, она говорила про астму и жабу. Я воображала, что милой астмой она была у себя дома, а жабой у нас. Мама говорила, что бабушка приходит за помощью. Позже я поняла, что помощь – это деньги, которые ей вручали ее дети – дядя Миша, «мерзкая тетка Сонька» – так я долго называла про себя мамину сестру – и мама. Тетка Сонька, крохотная и злющая, как моська, лаяла на бабушку. А та стонала и причитала. Мне было стыдно. Бабушкины дети настаивали, чтобы бабушка стала надомницей – не для денег, а для социального статуса, а бабушка плакала.

Бабушку не взяли в эвакуацию – она была слишком плоха. Оставшийся в блокадном Ленинграде дядя Шура положил ее к себе в Бехтеревскую больницу, где, как и везде, было голодно и холодно. Там она и погибла во время бомбежки. Точная дата и место ее захоронения неизвестны.

Важным источником информации была Няня, жившая в семье всю жизнь – сначала у бабушки, где нянчила ее детей, а потом у тетки Соньки, где нянчила кузину Наташку. Няня была полька Ядвига Петровна, говорила на смеси польского и русского и, по рассказам Раи, ругала ей свою воспитанницу Соню на чем свет стоит. Бабушка и Няня охотно говорили с Раей о прошлой жизни, а та мне, уже повзрослевшей, пересказывала. Немало я узнала от тетки Сони и ее мужа дяди Шуры, которые, слава Богу, были изрядными контрами и не боялись компрометировать советскую власть. Мама же молчала как рыба даже после смерти Сталина.

А все дело в том, что биография у бабушки Маршовой была никудышная. Во-первых, она была дочерью варшавского цадика и жила, конечно, в Варшаве, то есть за границей. Во-вторых, ее муж Абрам был не приказчиком и не служащим, как значился в анкетах у детей, а купцом первой гильдии, иначе с чего бы он смог переехать при Николае из-за черты оседлости в Петербург и иметь 13 комнат в шикарном доме. Чтобы это не выплыло наружу, ее дети как-то сумели изменить свое место рождения. Мама, например, родившаяся, по ее собственным словам, уже в Петербурге, числилась в паспорте и автобиографиях как рожденная в каком-то Сураже или даже Сураше (даже мне полагалось это писать в анкетах).

Про дедушку Абрама Михайловича Маршова я почти ничего не знаю. Известно только, что он был усыновлен состоятельной бездетной еврейской семьей от служанки – польки, прижившей его вне брака (не исключено, что от хозяина). От Няни известно, что он любил погулять и выпить, что прислуга его обожала за веселость, а бабушку недолюбливали за постоянную унылость и раздражительность. Считалось, что дядя Миша и мама пошли в него, а тетка Сонька в

бабушку. Дедушка любил посидеть и поесть в людской, особенно во время Песаха, а бабушка плакала. Судя по всему, они не ладили. В маминей анкете сказано, что в 1918 году бабушка с дочерьми переехали в Ромны, спасаясь от голода в Петрограде, а потом мама вернулась в Петроград и жила на иждивении отца. А где была бабушка? И кто жил в 13-тикомнатной квартире? В различных маминих документах дед называется то служащим торговли, то сменным мастером, то инкассатором в торговле. Согласно маминей автобиографии, он умер в 1934 году от туберкулеза в Ленинграде. Если так, то где же его могила? На еврейском Преображенском кладбище ее нет. Фигурировало и слово «сгинул». Мы с кузиной Натальей уже взрослыми считали, что сгинул он в тюрьме, как классово чуждый. Но этому противоречил один ужасный факт. Как-то раз в ответ на бабушкины упреки мама крикнула: «А Вы как с отцом поступили? Бросили его крысам?» Наш с Наташкой ужас можно себе представить. Через какое-то время мы решились спросить об этом дядю Шуру, Наташкиного отца. Человек эмоциональный, он схватился за голову и выбежал из комнаты. Вернувшись, объяснил нам, что дедушку нашли мертвым с объединенными ногами, но что на живых людей крысы якобы не нападают. Но причем тут бабушка? Может быть, его сослали, а бабушка с ним не поехала?

Мой зять Лева справедливо возмутился, что я ничего не знаю о дедушкиной смерти и захоронении. В самом деле, я даже не пыталась выяснить это в КГБ. Не пытались и дочери, которые умерли уже в «вегетарианскую» эру. При Хрущеве можно было попытаться. Но с чем идти? Ссылка? Тюрьма? Где? Когда? Возможно, он сам сбежал от ЧК или от бабушки. Почему они все так упорно молчали? Почему не осталось никаких документов? Да я их и не разыскивала. Почему ни ему, ни бабушке дети не поставили хотя бы памятной плиты на родных могилах? А мы, трое внуков? «Ужасный век, ужасные сердца»? Все так просто? Думаю, что правда была опасна для жизни...

Теперь, когда я дома держу кошер, я задаю себе вопрос, соблюдала ли бабушка. На Песах ели мацу вообще все: и бабушки, и дедушка, и родители. Она, кстати, прекрасно продавалась в магазинах. Папа обожал мацебрай. Но вот ели ли при этом хлеб, я не помню. Про выход евреев из Египта нам тоже рассказывали. Но бабушка Маршова была самая отсталая (теперь бы сказали «продвинутая»). Вне дома она носила косынку, вызывая неодобрение дочерей: «Хоть бы в комнате сняли косынку!» На днях рождения она не садилась со всеми за стол, что каждый раз смущало даже нас, детей. Тогда она шла на кухню, где Рая ее кормила. Мы считали, что она это делает нарочно. Раекла же в молодости жила в Череповце у евреев Скегиных и была обучена кошерным премудростям. Рыбу фиш и куриный студень она готовила прекрасно и называла еврейской едой. Рассказывала и про разделение молочного и мясного. Я запомнила историю, как хозяин, заметив, что она употребила не тот нож, выхватил его у нее и бросил в горящую плиту.

У папиных родителей Равделей биография была что надо, и скрывать им, похоже, было нечего. Дедушка Аркадий Михайлович (в некоторых ведомостях фигурировал как Арон, а также Абрам) родился в 1869 году и вообще был героем. Во-первых, он провел детство в каком-то рыбацком поселке между Никоподем и Каховкой. Уже само слово Каховка давало основание считать его героем («Каховка, Каховка, родная винтовка» – начало знаменитой песни, кончавшейся словами: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»). К тому же поселок был интернациональным и состоял из греков, украинцев, евреев, русских и армян. Между собой все, конечно, дружили и даже женились. Семья у дедушки была бедная, и в ней было одиннадцать детей. Сам он так описывает свою семью: «Я вырос в деревне в семье бедного учителя еврейского языка... Мама, которую я очень любил, всех нас обслуживала – кормила и обшивала. Вставала она в 4-5 часов утра и при сальном огарке, а то и без него, варила, пекла хлебы, чтобы в 11-12 часов утра всех накормить. Вся

наша орава тут же болталась, дралась и нередко попадала под кочергу...» Тем не менее, дедушку послали в город в школу, а потом выучили на аптекаря. Однако он увлекся политикой, из-за чего попал в 1892 году в царскую тюрьму и сидел два года в питерских Крестах (знаменитая тюрьма), из них год в одиночке. Папа тоже сидел в Крестах, но уже при Советской власти, и они любили поспорить, кому было хуже. В качестве положительной стороны оба отмечали, что там была изумительная библиотека, составленная из книг политических сидельцев с народовольческих времен. Это сохранилось там и при Вене Иофе, помещенном туда в шестидесятые по делу «Колокольников». Веня тоже сидел в одиночке, читал аж Бердяева, учил японский и ловил кайф.

Дед тяжело переносил одиночное заключение. Одиночество было отлично обеспечено. Еду передавали через форточку в двери, в камере была канализация с персональным унитазом, гулять водили поодиночке, читать полагалось только священные книги. Дед сидел там по приговору, а не в предварительном заключении, как отец или Веня, поэтому общения со следователями тоже не было. Разрешалось, однако, время от времени общаться со священнослужителями. И дед, сидевший и за антирелигиозные дела, заказывал себе раввина, православного священника и ксендза. Для сравнения, забегаю вперед, скажу, что папа тоже сидел в одиночке, только там находилось 13 (тринадцать) заключенных. Вновь прибывших клали к такой же параше; становясь «старше», з/к перемещался вверх по этажам нар. Зато общения и культурной жизни хватало. Восьмидесятилетний папа живописал это существование, правда, не в Крестах, а на Шпалерке:

Так в Дом Большой препровожден –
Туда, где ждет его параша,
Где нары, вошебойки, шмон,
Где цирики*, баланда, каша.

* Цирик – тюремщик Полный текст см. на стр.

Друзья народа в Гепею
Приучены к борьбе недаром:
И бой ночной ему дают,
А утром ждут друзья по нарам
И в нетерпении они
Ему кричат: «Звони, звони*!»

Выйдя из тюрьмы, дед оказался в Петербурге без копейки, а ему следовало срочно выезжать, так как еврею, не имеющему специального разрешения, нельзя было находиться в Петербурге больше суток. Иначе – неизбежный арест. Дед отправился в полицию и там узнал, что денег ему не положено, но, передвигаясь от чина к чину, он был приведен аж в прихожую самого министра, где полицейский чин сообщил швейцару суть дела, не терпящего отлагательств. А сумма была немаленькая – до Ростова-на-Дону. Швейцар еще кого-то вызвал и сказал, что вот один Абрашка вышел из тюрьмы без денег и должен срочно уехать. «Но его сиятельство обедают!» – был возмущенный ответ. Тем не менее, его сиятельство вышло и лично вручило деду необходимые деньги.

Пожизненную профессию дед нашел не в аптеке и не в политике, а на поприще бухгалтера. Тогда, как впрочем, и теперь, это была уважаемая и стабильная профессия. До революции деду довелось работать у самого Юза управляющим отделением Азовско-Донского Банка, а при советской власти в Петрограде-Ленинграде он тоже был в чести и без работы не сидел.

Семья переехала из Мариуполя, где они прожили лет 15, в Петроград уже при советской власти, сбежав от махновских погромов. Им «дали» шестикомнатную квартиру на Дегтярной улице, где я и прожила до отъезда в Израиль в 2002 году. Судя по рассказам, Мариуполь был приморским раем. С мариупольскими друзьями оба брата дружили всю жизнь. Наши интернационалисты-атеисты с восторгом рассказывали, что

они праздновали три пасхи – еврейскую, православную у Хаджиновых и католическую у поляков.

Дедовы родные братья и сестры никогда не всплывали, но, прочитав одну из маминых апелляций по поводу папиного заключения, я узнала, что при исключении из партии ему шили связь со шведским гражданином. Мама подтверждала, что в 1935 году дедушку посетил папин двоюродный брат, гражданин Швеции, разыскавший дедушку по телефонной книге. Сразу после войны при небольшой оттепели вдруг приехала из Южной Африки папина кузина. Отец был партийный, военный и секретный, имел уже горький опыт, поэтому с ней не встречался, а дед и папин брат дядя Саша навестили ее в гостинице (домой на Дегтярную приглашать ее было опасно из-за папы). Потом дядя Саша рассказывал, что кузина нахваливала жизнь в ЮАР, равенство, демократию и прочее. Дядя Саша спросил: «А как же национальный вопрос?» – «Его нет, все равны – немцы, поляки, евреи». – «А негры?» – «При чем тут негры?» – изумилась кузина.

Уже после смерти Сталина папа упоминал, что дедушкины братья НАВЕРНО эмигрировали перед Первой Мировой.

Бабушка Розалия Исаевна, в девичестве Златопольская, родилась в 1875 году в эмансипированной семье. Семья была, по словам бабушки, интеллигентной и стояла на социальной лестнице выше дедушкиной, над чем дедушка любил подшутить. У нее было четыре сестры, которых я знала, и один брат Гриша, по ее рассказам, талантливый человек (кажется, архитектор), который исчез в двадцатые годы. Куда – на запад или на восток – разговоров не было. Может, просто шлепнули.

Бабушка немного играла на фортепьяно, была знакома с немецким и французским, а ее младшая сестра Фанни (Тита) училась при Николае II на Бестужевских Курсах и стала врачом.

Бабушка моего детства была маленькой, подтянутой и хорошо причесанной женщиной. Я гордилась ее образованностью, но таких разнообразных и горячих эмоций, как бабушка Маршова, она у меня не вызывала. Бабушка умерла в 1953 году,

* Звонить – спускать воду в унитазе

дедушка – в 57-м. Оба лежат на еврейском Преображенском кладбище в Петербурге. Кладбище щеголяет шикарными надгробиями, но папа захотел похоронить родителей под традиционными плоскими плитами, оставив место между ними для себя. Там он и похоронен. Я тоже туда собиралась, но теперь, поднимай выше (на 850 метров), надеюсь лежать до Шофара на Масличной Горе неподалеку от Алека.

Бабушка и дедушка Равдели пережили пять войн, из них две мировые и одну гражданскую, три революции, погромы, сталинское засилье, тюрьмы, но жизнь их была счастливой и благополучной.

ТИТА

Так называлась бабушкина незамужняя сестра Фанни Исаевна, жившая в нашей квартире до смерти и принимавшая живейшее участие во возвращении всех поколений. В нашей семье как-то приживались детские прозвища. Так, мама Фаня называлась Фуфой, тетя Феня (Фанни Златопольская) – Титой, а за всеми любимой няней моего кузена Бори, тоже жившей в нашей квартире, с легкой руки малолетнего Димы закрепилось прозвание Кука (а была она Дуня Максимова, не путать с моей Дуней Дубасовой). Тита была на редкость простодушна, навсегда испугана советской властью и обожала племянников всех трех поколений. Но по-разному. Из каждой пары она предпочитала старшего. Так, папа, а не дядя Саша был светочем ее жизни; я, а не кузен Боря; мой сын Дима, а не Маша. Но и младшим она была предана всей душой. На более дальних родственников это не распространялось, хотя она была добра и отзывчива ко всем.

Вспоминая ее, я все больше понимаю, что не знаю другого человека, до такой степени отрешенного от себя. Собственных интересов у нее вообще, похоже, не было. Она могла быть несправедлива, но не в свою пользу. Так, мой папа, боготвори-

мый Адольф, не мог быть неправ по определению. За него она даже позволяла себе осуждать советскую власть.

В эвакуации в Ташкенте она близко познакомилась с Анной Ахматовой и Надеждой Мандельштам, которых лечила. С Анной Андреевной она продолжала общаться и в Ленинграде и однажды взяла меня с собой к ней в Фонтанный Дом. Тут-то и произошел конфуз, причиной которого было все то же простодушие и неумеренная оценка своих любимцев.

Здесь я позволю себе вставить свой старый текст, выходящий за рамки подзаголовка «Тита».

ВСТРЕЧИ С АХМАТОВОЙ

Мне дважды в жизни довелось побывать у Анны Ахматовой. Первый раз меня повела к ней тетушка, в эвакуации жившая с ней по соседству и лечившая ее. Это было осенью 1945 года, за год до Постановления. А.А. была в чести, выходили подборки и даже сборник ее стихов. Я, подросток, упивалась ими и писала что-то под раннюю Ахматову:

*«Я как школьница, руки сложив на коленях,
Молча слушала страшный урок.»*

Мы прошли запущенным послеблокадным двором Фонтанного Дома, поднялись по полуразрушенной лестнице и вошли в квартиру с длинным коридором. А.А. встретила нас в узкой солнечной комнате. Она была очень красива и непохожа на Ахматову знаменитых портретов – изящную, длинную, породистую, угловатую с неизменной черной челкой. Теперь это была скорее римская матрона с забранными в узел серебряными волосами, с резко, «как будто бы железом, обмокнутым в сурьму», очерченным профилем, статная и величественная. Она была нездорова и лежала на узком диванчике, но мне казалось, «возлежала на софе». Я оглядывалась, но не находила в полупустой комнате никаких примет благородной старины, приличествующих Фонтанному Дому.

Тетушка и А.А. обсудили здоровье, знакомых и еще что-то неинтересное, а потом тетушка взяла и сказала: «А.А., а это моя племянница Галя, она ТОЖЕ пишет стихи». И вот я

плача бегу по перерытому двору, а за мною скачет несчастная тетка. Кажется, я ее побила. По крайней мере – хотела.

Через несколько месяцев разразится Постановление, и моя добрая пуганая тетка никогда больше к Ахматовой не пойдет, а из подаренной книги (редкостное издание, вышедшее в Ташкенте) вырежет страницу с дарственной надписью и упрячет книгу так, что я найду ее лишь в 1970 году после теткиной смерти. С вклеенной страницей, слава Богу.

Второй раз я была у Ахматовой через 17 лет в феврале 1962 года. Привел меня к ней Дима Бобышев, один из четырех «ахматовских мальчиков». А.А. жила в Комаровском Доме Творчества; был поздний час, и я, конечно, робела. Но Бобышев недрогнувшей рукой постучал в ее дверь. Оттуда спросили: «Кто там? Анна Андреевна отдыхает». «Скажите, что пришел Бобышев». И откуда-то издали глуховатый голос то-ропливо сказал: «Ах, Бобышев? Проси, проси». И, потрясенная этим «проси, проси», я вошла к ней снова.

Она вскоре вышла, и опять она была совершенно другая – грузная, мягкая, с оплывшим лицом в венце старчески белых волос, без былой орлиности, еще более величавая, просто-таки царственная. На плечах яркая шаль. («Вы накинете лениво Шаль испанскую на плечи»). Она сразу же попросила Бобышева почитать новые стихи («По черному, бросая землю в дрожь, Зимы прошелся белый грифель»), потом смотрела их глазами, зорко вылавливая шероховатые или темные места, потом начала читать свои новые стихи – отрывки из «Поэмы без героя» и «Реквиема», – но вскоре стала задыхаться и отдала нам листки. Мы спросили, есть ли надежда на публикацию «Реквиема» (было время хрущевской оттепели). «Нет, – ответила она, – никакой». Бобышев спросил: «А.А., ЗОЛОТОЕ КЛЕЙМО НЕУДАЧИ – это о Бродском?» – «Нет! Нет. С чего вы взяли? Нет.» Но она, я думаю, лукавила.

Еще четыре года, и морозным мартовским днем я стою в очереди к Дому Писателей – прощаться с покойной Ахматовой. Подходят высокие ухоженные парни и спрашивают на хорошем русском с немецким акцентом: «Чего здесь ждуть?»

Я объясняю. «И нам тоже можно?» – «Да, конечно.» Они не скрывают радости: «Как нам повезло! Ведь мы русисты».

В мертвом лице Ахматовой вновь проступает орлиность; рыдает рыжий Иосиф. Стоят Женя Рейн, Дима Бобышев, Толя Найман – «ахматовские сироты».

Титино простодушие и безудержное рвение в нашу пользу постоянно приводило к конфузам. Когда ко мне стали ходить мальчики, она вела со мной совершенно преждевременные разговоры о вреде ранней беременности. Это в мой-то век, когда подростки боялись даже попасть под подозрение, что они иногда писают! Вообще она постоянно находилась в страхе. Не могла лечь спать, не заперев парадную и черную двери на три запора. Не любила, чтобы квартира оставалась без людей, поэтому почти никуда не выезжала, не выносила, чтобы у кого-нибудь из домочадцев оставался неоплаченным хоть один счет («Галочка, зачем доводить до неприятностей!») и бежала оплачивать все наши и не наши счета немедленно по их получении. Боялась, что нас укусит в лесу змея, обокрадут, побьют, изнасилуют. Писала нам на дачу загадочные письма: «Дима, спать на полянке, там змеи». И это женщина, которая в Первую Мировую бесстрашно работала в прифронтовых госпиталях и далеких деревнях, пробираясь зимней ночью к срочному больному! Она почти не рассказывала об этом, возможно, тоже чего-то боясь (а вдруг не с теми служила), больше мы знаем от папы. Конечно, ей от всех попадало за приставания, иногда грубо и жестоко, и она обижалась, но я не сомневаюсь, что она знала, что ее защитят, в первую очередь самый любимый из ее близких Адольф.

Меня с детства интересовало, почему чадолюбивая Тита не вышла замуж. Ведь она из всех сестер была самая красивая. Я еще помню ее нестарой – пышноволосая светлоглазая блондинка с красивым носом и белорозовой кожей. Говорили, что у нее была несчастная любовь. Похоже.

Умерла Тита тихо, никому не доставив хлопот. Сначала она сообщила, что больше не может сама ходить за покупками

(она всегда вела свое отдельное хозяйство), потом что не может убирать свою комнату и, наконец, что она будет питаться с нами. К ней стал регулярно ходить частный врач, и она очень приставала, чтобы мы объединили с ней лицевые счета, иначе может пропасть ее комната. На расспросы она отвечала, что это старость, ничего более. Однажды в середине ночи я пошла в туалет и увидела у нее свет. Когда я зашла, она сидела на кровати, но на мой вопрос ответила, что все уже прошло. Утром она долго не выходила, и, зайдя в ее комнату, Дима обнаружил ее умершей. Судя по всему – во сне. Рая ходила и повторяла: «Вот все и сделала, как хотела».

ПАПИН АРЕСТ (1)

В детстве (да и не только) папа был главным человеком моей жизни. Он все знал и все умел. По знаниям с ним мог сравниться лишь Наткин папа дядя Шура, но дядя Шура ничего не умел делать руками, а папа умел все – лепить, рисовать, ремонтировать, пилить и колоть дрова и даже стирать. Армейская и тюремная закалка. В эвакуации папа строил мебель из ящиков, слепил отличную мангалку из ржавого ведра и кизяка, он быстро ходил, быстро ел и никогда никуда не опаздывал. Он был силен в математике, знал и любил литературу и историю, писал отличные стихи «на случай», знал европейские языки, включая латынь. Кстати, живя в Самарканде, он интересовался узбекским и учил его со мной по моим школьным учебникам. Он старался приобщить меня к спорту, но не слишком преуспел. Зато он довольно успешно тренировал мою наблюдательность. Для этого после прогулок он просил подробно описать, что было справа, что слева, какие были дома, какие сорта деревьев, кого мы встретили и многое другое. Чтобы проиллюстрировать его ответственность и упорство, расскажу об одном случае, когда я уже была мамой, а он дедом.

Мы жили на зимней даче. На неделе все разъезжались по работам и школам, а мы с папой как вузовские преподаватели имели зимние каникулы и проводили их на даче. Был очень снежный день, когда нам привезли машину дров. Шофер проехал по наезженной дороге до ближайшего к нам угла, но доехать, как должен был, до нашего сарая отказался: дорога, как мы ее ни расчищали, тут же покрывалась глубоким снегом. Нечего было и привозить дрова в такую погоду, но везти их обратно он тоже отказался. И свалил их своим самосвалом прямо на перекрестке. Ни проехать, ни пройти.

Я:

– Пропали дрова, к вечеру их схватит аж до весны. Да еще за дорогу оштрафуют.

Папа:

– Почему пропали? Мы их в сарай перетаскаем.

– Да ты что, три кубометра за полквартиры по глубокому снегу?

– Не три, а два с половиной, полкуба они наверняка украли. А в квартале четыре дома. И снег пока рыхлый.

– Это невозможно, надо кого-то найти!

– Кого ты найдешь в середине недели? Куда нам торопиться? Помаленьку все сделаем.

– До утра, что ли?

– Почему? Часов за шесть управимся.

Да что с ним? Это же ни одному из нас не под силу. Но папа уже набрал небольшую охапку дров. Видя, что я, чертыхаясь, следую его примеру, он поделился со мной тактикой операции: главное, брать только посильные охапки. Никуда не спешить. На полпути охапку забирает другой из нас, а первый возвращается к куче. По дороге отдыхает. Тем временем второй доходит до сарая и аккуратно укладывает дрова, иначе они не влезут, и будет филькина работа. На обратном пути второй отдыхает. Потом меняемся. И вообще нельзя сильно уставать. Лучше отдохнуть лишний раз. Очень скоро мы натопчем дорожку. И станет легче. Многое еще можно рассказать об этой операции, но все в том же духе. Ясно, что мы все сделали. Но не за шесть часов.

Папа не мог не кончить дела и меня учил все доедать, дочитывать, доделывать. Я и сейчас все доедаю и дочитываю всякую дрянь, а когда курила, то докуривала сигарету до конца вопреки здоровью и желанию.

И вот в сентябре 1937 года папу взяли (*разг.*). Просто пришли ночью, обыскали комнаты и увели. Было так тихо, что я и не проснулась. В следующие дни я ничего особенного не заметила – папа часто приходил, когда я уже спала, и уходил раньше, чем я вставала. Когда папа не проявился и в выходной, я удивилась. Тут я, наконец, заметила, что мама расстроена. Да и Рая стояла пригорюнившись. Мама посадила меня на колени и сообщила, что папа уехал в длительную секретную командировку по важному заданию и что про это нельзя ни с кем говорить. Конечно, я буду скучать по папе, но зато подтверждается, наконец, что он герой, а то мне мало кто верил. Поэтому в садике я немедленно рассказала об этом Вильке, а может и еще кому, не помню. Вилька меня еще больше зауважал. Уже в школе моя обожаемая учительница молоденькая Екатерина Васильевна захочет записать в журнал сведения о моих родителях. И я скажу ей: «А папа в секретной командировке» и, поскольку она неотреагирует, вдруг расплачусь: «Я так давно его не видела». У Е.В. делается сердитое лицо, и она резко меня прервет. Наверное, за то, что я разглашаю военную тайну. Но Е.В., которая и раньше меня любила, стала любить меня еще больше, и когда мы толкались, кому ходить с ней под ручку на переменах, старалась мне подноровить (Раин лексикон). Она вызвала маму в школу, и после этого мама со ссылкой на Е.В. строго мне запретила говорить о папе.

Но жизнь изменилась. Мамы нередко вечерами не было дома, и она часто плакала, объясняя это неприятностями на работе, а однажды, когда я расспрашивала ее о папе, обняла меня, тихо заплакала, и мы долго сидели плача. Тогда я заподозрила что-то неладное. Я рассказала об этом кузену Борьке, который был младше меня на полтора года, и он сказал взрослым тоном: «Адолф, наверно, погиб». Вот тут я стала кричать, плакать, бить Борьку и требовать от взрослых, чтобы сказали

мне правду. Но меня утешили, Борьке влетело, и все пошло своим чередом.

На выходные вместо прогулок с папой мы ездили к Натке и гуляли с дядей Шурой. Мы и раньше часто гуляли с двумя папами, а потом спорили, с кем интереснее. Теперь же Натка смотрела на меня явно свысока. А тут еще мерзкая тетка Сонька. Я хорошо понимала, что их семья делает для нас; думаю, во многом потому, что тетка Сонька любила об этом покричать и требовала от мамы, которую она искренне любила, беспрекословного послушания. Мама плакала, дядя Шура жалобно просил: «Сонечка, не надо», тетка Сонька с вызовом говорила: «Ну и что? Зато я добрая». Наташка с обожанием смотрела на мать, а я ненавидела. Раха уже потом говорила с выражением: «Ну и злыдень! Помогает, конечно, но подавиться можно». Я бы подумала, что здесь больше детского воображения, если бы тетка Сонька не повторяла это до самой своей смерти примерно в тех же выражениях. А вообще Натка была права, когда с гордостью говорила: «Папа может содержать две семьи, потому что он профессор». Он не дал маме расстаться с Раем, снимал общую дачу, держал нас с Наткой наравне и даже шлепал сразу двоих не разбираясь.

И вот в начале 40-го наш дом стал оживать. Родные заулыбались, ходили друг к другу из комнаты в комнату, шушукались, к маме зачастили друзья, чего раньше не наблюдалось, приходили военные моряки, папины сослуживцы. Мама, наконец, сказала, что они приехали из командировки с вестями от папы. Тита, которая сияла и суежилась больше всех, не выдержала и сообщила мне, что папа скоро вернется домой, на что Рая заметила в адрес Титы: «да уж, в жопе вода не устоит!» А ему, мол, надо отчитаться за командировку. Кроме громадного чувства радости и облегчения, я мало что помню. Ведь я все время боялась получить известие, что папа погиб, тем более что у многих детей папы гибли. Погиб же папин ближайший друг Муля Рабинович, отец Майи и Оли, который помогал самому Ворошилову. Мы как-то были у них в Москве, и я была поражена их роскошным образом жизни. У них была кухарка, а у девочек бонна!

Папа жив! У меня скоро опять будет папа! Но время шло, а папа все отчитывался. И одновременно с радостью рос страх. Нет, не за папу – за себя. Мне и раньше говорили, когда ругали, что папа думает, что у него растет хорошая дочка, а вот придет и увидит. Но теперь этот припев преследовал меня каждый день: за плохую еду, за грязь в тетрадах, за беспорядок, за вранье... Но на самом деле я была еще хуже: врала гораздо больше, грязные тетради «теряла», а главное – продолжала отдавать и выбрасывать еду. (*A propos*: дети вообще постоянно нарушают запреты и испытывают из-за этого сильное чувство вины. Многие из них даже считают, что если родители расходятся, то это из-за их плохого поведения.) Я так жду папу, а ему расскажут, и он узнает, какая я плохая! Что будет?

И вот папа, наконец, приехал, а я забралась под стол и ревели, когда меня оттуда вытаскивали.

Но дни покоя сочтены, Лишь год остался до войны.

Это был самый лучший год моего детства. На этом счастливое детство кончилось.

ДЕТСТВО

Оттоманка в три подушки,
Шестидневка-календарь,
Конь-качалка, кошка Пушка,
Кукла из папье-маше,
А у Натки воображали
Хрестоматия, букварь
И кармашек на шнурочке
Под названием саше.
А у бабушки в бауле
Есть кроше и мулинэ,
А у дедушки кашнэ.
Раскаляется конфорка –
Значит, будем есть блины;
В ванной топится колонка:
«Дай головку, вытрем спинку,
А теперь сюда, в простынку».

Жар струится от стены.
После голову обвяжут
И перинкою укроют;
Я, конечно, не услышу
Полуночного звонка.
Вещи тихо перероют...
У порога папа скажет
Только: «Дочку берегите» –
Ни «прощайте», ни «пока».
...Звук колес издалека.

ВОЙНА

Война для нас началась на даче в ночь на 23 июня воздушным боем над Разливом. Вой, стрельба, один из самолетов горит и падает, и невероятный животный ужас. Нас рвет. Нас сейчас убьют. Рая и папы держат нас за лбы и поят водой, мама отхаживает тетю Соню, которая кричит как зверь: «Детей спасайте!»

На следующий день мы поспешно собираем вещи, чтобы вернуться в Ленинград, как вдруг к нам в гости приезжают наши друзья Генделевичи. Увидев нас в сборах, они явно разочарованы и зовут нас на море или озеро. Им кажется, что война где-то за горами, а мы просто паникуем раньше времени. Тетка Сонька кричит как резаная от возмущения, а папа то же самое объясняет тихо. Я тоже удивлена их легкомыслием – неужели они не понимают, что старая жизнь кончилась, и не будет больше ни дач, ни озер?

И правда, в первые же дни войны Ленинград изменился: в небе висели «колбасы» – противовоздушные дирижабли, на окна клеили крест-накрест полоски газет (якобы для защиты стекол от взрывных волн), на улицах не было освещения, а в домах окна завешивались темной тканью; вечером дворники ходили по улицам и проверяли затемнение, не умолкали

уличные громкоговорители, сообщая сводки и передавая новые песни, вызывающие страх и благоговение («Пусть ярость благородная Вскипает как волна, Идет война народная, Священная война!»), стенды увешаны патриотическими плакатами. На улицах белыми ночами собирались горожане, обсуждая сводки и слухи, за «панические» слухи могли арестовать. Был объявлен всеобщий призыв, люди толпами шли в добровольцы, и впервые в жизни мы знали все, от нас ничего не скрывали. Папа не стесняясь ругал руководство, особенно Ворошилова и Молотова. К нам пришел родительский друг Леня Гальперин и сообщил, что записался в Ленинградское народное ополчение. Папа тряс его за плечи и кричал, что в ополчении нет ни винтовок, ни сапог, что ополченцев ставят под Пулковку как живой щит, что это хуже, чем самоубийство, уж лучше бы Леня шел в добровольцы. «Меня не взяли из-за близорукости». – «Так не ходи!» – «Уже не могу». – «Можешь, можешь!» – уговаривал его папа. Леня погиб в первые дни войны.

Вскоре начались воздушные тревоги, хотя бомбежек пока не было. Выли сирены, громкоговорители приказывали идти в бомбоубежище. Было страшно, и мы пошли. Бомбоубежищем оказался наш подвал с водой и крысами. Сиденья предлагалось принести с собой, а также захватить зимнюю одежду и ценные вещи.

Ночь была жаркая, и дышать сразу стало нечем. Тревоги объявлялись каждую ночь, а иногда и дважды в ночь. Папа не разрешал нам больше ходить в подвал, говоря, что в случае завалов мы быстро погибнем от удушья, пожаров и крыс. Он выводил нас под черную лестницу и держал двери во двор открытыми, считая, что даже при прямом попадании фугаски мы можем успеть выскочить до обрушения дома. «Главное, не кричать и слушать только меня. У нас есть два врача со всем необходимым». Это были дядя Шура и тетя Соня, жившие у нас, чтобы держаться вместе. Титу, тоже врача, забрали в госпиталь, и в тех редких случаях, когда наша пугливая Тита появлялась дома, она ни на какие тревоги не реагировала, а крепко спала. Мы тоже вскоре перестали бояться и хныкали, чтобы

дали поспать, но отец категорически отказал. Тетка притихла и во всем слушалась папу, как и все в доме.

Фронт вокруг Ленинграда сжимался, начиналась эвакуация. «Опять вся Россия на колесах», – тихо причитала тетя Соня. Первыми стали вывозить детей. Папа настаивал на нашей немедленной эвакуации с моей школой, а тетка Сонька вопила, что если умирать, так вместе. «Моя дочка не поедет!» – «Нет, твоя дочка поедет!» – грозный, тихий голос папы. Вопрос был решен. Через много лет, отправляясь в больницу и понимая, что идет умирать, торжественно и картинно выступая между санитарями, тетка скажет: «Доченька, давай умрем вместе».

14 июля 41 года. Военрук строит нас в школьном дворе. Нас ждут автобусы. Родителей не оторвать от детей. Автобусы гудят. Учителя в отчаянии. Папа подходит к военруку, и они начинают командовать по-военному. Автобусы заполняются, в окна суются последние конфеты... Прощай, старая жизнь. Мы едем в новую, страшную и интересную.

ЭВАКУАЦИЯ. КАРЁТА

Нас разместили в плацкартном вагоне в среднем по полтора человека (ребенка) на полку. Подушек и матрацев тоже не хватало. Но было весело. Поезд останавливался каждые полчаса у деревень и в чистом поле – пропускали рейсовые поезда и эшелоны с солдатами. Нам давали поразмяться и купить молока. Один раз мы щедро набросали из окон конфет деревенским детям, и каково же было наше благодарное изумление, когда в вагон вошла делегация и принесла нам тазик брусники и ведро клюквы! Мы быстро познакомились и стали задавать вопросы типа «А у нас в квартире газ. А у вас?» Выяснилось, что живут они без электричества и водопровода. «А, как мы на даче. А где вы живете зимой?» Оглядев нашу обувь, они спросили: «А где вы берете сапоги?» – «Какие сапоги? Это сандалии. Родители

покупают». — «А как вы в них ходите?» И так пока мы не уезжаем. Мы в смех. Екатерина Васильевна грустно говорит: «Да они, наверно, ни конфет, ни сандалий не видели».

Веселье быстро кончилось. Ночью нас разбудили. Поезд остановился. Над нами грозно рокотал самолет: ближе — дальше, выше — ниже. Велено было выскакивать по команде («трое, еще трое»), когда самолет удалялся, и залезать под вагоны. Самолет начал стрелять. Загрохотала зенитка, ехавшая в нашем составе на платформе. Оставшимся велели сидеть под нижними полками и не кричать. Многих рвало. Я старалась соблюдать репутацию, но меня схватила медвежья болезнь. Больше я ничего не помню, кроме страха. Не помню, как мы ехали дальше, не помню, сколько времени мы ехали. Знаю, что никто не пострадал. Помню, что мы сидим на вещах на станции в городе Буге, и нам обещают, что скоро нас покормят. Многие бегают, толкаются. Ни мне, ни Наташке есть и бегать неохота. Абакумов дразнится: «Что, Маршovy, обосрались?» Во раздухарился, шмакодявка уродская! Да я ж его выше и сильнее в сто раз. Встаю и иду бить. Он утекает, и реальность восстанавливается.

Этой реальностью была деревня Карёга. Нас встретили на лошадях с подводами, покрытыми свежим сеном, и привезли в никогда раньше нами не виданную среднерусскую деревню, где нас жадно ждали местные дети. Нас вкусно накормили громадным обедом, и началась лафа. Нам показали разнообразных животных, свободно расхаживающих по всей деревне, свели на речку, где мы тут же искупались, привели на огороды, где разрешалось щипать зеленый лук и горох и таскать морковку, свели в сады, где можно было трясти яблони. В общем, все вокруг народное, все вокруг мое. Ни тебе лагерных линеек и всяческих мероприятий, ни тебе дачного семейного надзора и отвратительного кипяченого молока с пенками. Бедным учителям было не до воспитания, они еле успевали заниматься нашим бытом и здоровьем, молоко же нам давали парное, последнего подоя. Спали мы в клубе, где по вечерам бывало электричество. Но были и проблемы: от

сырой зелени и молока начались поносы, а какать полагалось бегать в лесок, не всегда и добежишь, хорошо речка рядом. Газет для подтирки нет, (туалетная бумага появилась в СССР где-то в 60-х и была страшным дефицитом), но наши деревенские друзья советуют нам с утра набирать еще влажные кленовые листья и держать их под подушкой. Стирать надо самим, но чем и как? Выяснилось, что можно стирать без мыла, разложив вещи прямо на мостках, бить их скалками, все время переворачивая и полоща в речке. Это было по-настоящему тяжело. Белье норовило уплыть, приходилось его догонять и т. п. После первой же стирки случилась неприятность. Только мы развесили наши скудные пожитки, чтобы дождик и солнце довершили нашу работу, как к нам прибежала наша любимая корова, которой мы таскали подолы яблок и корнеплодов. Увидев наши вещички, она решила, что это для нее, выбрала именно мое полотенце, возможно за красивую бабушкину вышивку, и стала его сжевывать и глотать. Мы пытались вытащить полотенце, но она быстро съела его на бегу. Я очень огорчилась, у меня оставалось теперь только одно, но что поделаешь. Прошло какое-то время, и вдруг кто-то бежит и говорит, что корову рвет моим полотенцем. И правда, корова прибежала и стала обратно выдавать полотенце, покрытое зеленой слизью. Деревенские не разрешили нам его выбросить, и мы всем хором отстирали его добела. В напоминание о мощном коровином пищеварении на полотенце остались мелкие дырочки.

Нам полагалось работать: полоть, окучивать, дергать морковку, собирать яблоки и смородину, а также ходить в лес по ягоды и грибы, которые отдавались на кухню. Кормили вкуснятиной: свежими молочными продуктами, пирогами с картошкой, ватрушками с ягодами. Правда, в начинках и компотах не хватало сахара, а мясо мы ели только по случаю — например, когда баран в драке убил барана, — но зато пищу обильно сдабривали салом с жаренным на нем зеленым луком, и у меня и сейчас, уж извините, текут слюнки, когда я вспоминаю толстые серые блины с этой приправой и сметаной.

Проблемы обострились, когда мы стали чесаться, и выяснилось, что наши головы полны вшей. По традиции вши в России – позор, примерно, как сифилис, и мы стыдились сказать про них старшим, а вместо этого мазали по совету деревенских голов мочой и дегтем и развели еще какие-то болячки. Начальство (не знаю какое) велело нас обрить, но девчонки пригрозили побегом, и над нами взяли шефство опытные в этих делах деревенские семьи.

Добрая теплая Карег! Так и тянет на сентиментальность. И взрослые, и дети нас любили, уважали, расспрашивали про столичную жизнь, приглашали в баню и жалели за беспомощность и за то, что мы эвакуированные, прекрасно понимая, ЧТО нас ждало. А ждало нас среди прочего и то, что уже через месяц из эвакуированных мы превратились в «выковыренных», которых наковыряли где-то, как червей, и теперь от них спасу нет. Отец уже в Астрахани удивил меня, сказав, что это злая, но правда, что местному населению стало теснее, голоднее и обиднее, так как понаехавшая интеллигенция нередко получала «рабочие», а то и военные карточки, живя в тылу, в то время как их мужчины гибли на фронте. И хотя местные и сами имели с нас доход, сдавая втридорога жилье и обменивая плоды с приусадебных участков на вывезенные ценности, это унижало их еще больше.

К концу августа похолодало, пошли дожди, наш клуб ничем не обогревался, зимней одежды мы не привезли, а взрослым было не до нас: учителя ходили озабоченные и куда-то все ездили; колхозники занимались сеном и уборочными работами, главный источник гигиены – речка – стала недоступно холодной. Колхозники возили нас с собой на работы – там в любую погоду было весело и тепло. Хотя мы были не старше четвертого класса, мы были хорошо информированы, слушали радио и ходили на политинформации. Что с нами будет? Собираются ли приезжать, как обещали, родители? Ленинград бомбят, здесь нам в холода жить невозможно. Лафа перерастала в тревогу. Я была озабочена, а всегда всем недовольная Натка – нет. Кто-то дал ей поносить старый ватник, к тому же она не сомнева-

лась, что родители скоро приедут. И оказалась права. Вскоре нас вызвали в контору, где нас ожидали мама, Рая и тетя Соня. Первый раз в жизни мы заплакали от радости, но нас несколько охладил старый веселый председатель: «Родители! Обнимать детей запрещается по причине наличия вшей». И мы уехали в Буй – приветливый чистенький городок с речкой и библиотекой, весь в садах и огородах. Мы жили в домике у бабы Анюты, снимая там аж две комнаты – горницу и светелку. В светелке были кровати, а в горнице спали на широких лавках. Хозяйка помещалась в закутке – комнатке между сенями и кухней. Колодец и сортир были во дворе, в доме топились русская печь, а значит, полный день была горячая вода, стирали в корыте. Умывались из рукомойника; в общем, даешь цивилизацию. Тетя Соня несколько дней занималась нашими вшами и одержала полную победу. Вечерами мы сидели на кухне при яркой керосиновой лампе и пили чай из самовара, причем Анюта выпивала по 10-15 стаканов практически незаваренного чая с сухарями или «с таким». «Матвеевна, – говорила она Рае, – Ляни кипяточку-то». – «Да куда тебе, пузо лопнет». – «Пузо лопнет – наплевать, под рубашкой не видать», – это уже наш с Наткой комментарий. – «Мы, ярославские, самые водохлебы». Рая с Анютой обсуждали сельскую жизнь, а тетя Соня, надо отдать ей должное, вслух наслаждалась их языком.

У Анюты в хозяйстве была волшебная палочка, называемая «вечный помазок». Это был горшочек, куда сливался жир со всех кастрюль и сковородок. В горшочке всегда стояла палочка, обвязанная тряпочкой, которой промазывалась сковорода перед употреблением. Например, пекут блины. Сковородка протирается помазком, на нее наливается блин, туда-сюда, испекшись, снимается на блюдо, сковорода снова протирается помазком, снова наливается тесто и так далее. При такой технологии блины никогда не приставали к сковородке, не то что у наших, которые брезговали этим чудом.

Идиллия скоро обрушилась. Всех трудоспособных нарядили копать «щели» и крыть их досками – будущие убежища, Ленинграду угрожала полная блокада, оттуда началась массовая

эвакуация. В Буге обсуждали, что будет, когда ОН придет. Это ожидание прихода немцев как неизбежности пугало больше тревог. Тревогу можно пересидеть, а ЕГО?

В сентябре стало известно, что Военно-морскую академию, где папа заведовал кафедрой химзащиты, эвакуируют в Астрахань. План был такой: по дороге в Рыбинск, откуда Академия организованным порядком поплывет по Волге в Астрахань, папа делает остановку в Буге и забирает нас. Дело в том, что передвигаться по России в индивидуальном порядке было невозможно. Железнодорожные и водные пути были забиты организованными эшелонами с солдатами, ранеными, госпиталями и эвакуируемыми учреждениями. Но папа был капитан какого-то ранга, и ему полагались особые льготы. Из этого плана ничего не вышло, не помню почему. А пока что мама послала дяде Шуре телеграмму, в которой содержалась такая фраза: «С нетерпением ждем прибытия Адольфа». Когда тетка об этом узнала, у нее округлились глаза: «Ты что, совсем с ума сошла? Хочешь всех погубить? Беги в НКВД с документами!» Мама побежала и, как выяснилось, правильно сделала. Там уже этой телеграммой занимались.

Прошло немало времени, пока папа прислал из Астрахани вызов, где мы назывались семьей командира ВМФ, и кто-то там обязывался оказывать нам содействие. Мы довольно спокойно попали на пригородный поезд и поехали в Ярославль. Был яркий день, и Ярославль сверкал белыми церквями с множеством золотых куполов и маковок, так непохожими на могучие ленинградские соборы. Настроение было хорошее – скоро я увижу папу, и мы будем жить в большом городе, где должны быть пирожные. Мы еще не добрались до волжской пристани, как увидели море народу вокруг нее, по большей части сидевших на земле. Мужчины и женщины всех возрастов ели, спали, кормили грудью детей, искали друг у друга вшей. Многие были явно больны, кого-то рвало. Но больше всего меня потрясли добровольные затейники: играли на гармошке, отплясывали, пели частушки, идя друг на друга рядами. «Этому быдлу весело», – мрачно сказала тетка Сонь-

ка. «Это народ, Сонечка», – нравоучительно сказала мама. «Тьфу!», – сказала Рая.

Мы провели на пристани два или три дня, а добраться до того места, где хотя бы могли посмотреть на наш вызов, маме не удавалось. Рая, купив судки и ложки, бегала по столовым отоваривать карточки, мама прорывалась к кассам, тетка караулила нас и вещи и даже наводила минимальную гигиену. Мы с Наткой рисовали кукол, чтобы потом вырезать. Мебелью служили тюки и чемоданы. Жить, оказывается, было можно.

Наконец появилась мама с молодым военным. У нас были билеты! Оказывается, мама, увидев морского командира, в отчаянии обратилась к нему за помощью. Он немедленно отдал ей свое место в одноместной каюте первого класса и успешно пробил и вторую каюту. Сам же он устроился спать в трюме, а кантоваться собирался у нас и в кают-компании за биллиардом. Мама была красивой женщиной с натуральными светлыми локонами и замечательной улыбкой, и я сразу поняла, что это сыграло в ее успехе не последнюю роль. Мы прозвали его Джентльменом. В назначенное время Джентльмен пришел за нами с матросами, и мы отправились на пароход.

Видели ли вы первый класс советского речного парохода? Дерево, кожа, зеркала и бархат алый. В одной каюте разместились Соня с Наташкой, во второй с диваном – мы с мамой и Рая. И было электричество, и водопровод, и нормальный сортир. Мама сообщила мне, что на вечер Джентльмен позвал ее в кают-компанию потанцевать. Мама надела мое любимое крепдешиновое платье и янтарь, подмазалась, красиво причесалась и пошла, впервые после своего приезда оживленная и молодая. Позже пришли Сонька с Наткой. Тетка писала письмо, а мы, наверное, вырезали кукол. «А где Фаня?» – спросила через некоторое время Соня. «Джентльмен пригласил ее в кают-компанию», – гордо сказала я. Тетка вскочила, ударила крохотным кулачком по столу так, что посуда загремела, и завизжала своим знаменитым голосом: «Сволочь, сволочь!» Потом она сидела красная и злая, а я думала: «Так тебе и надо, злюка завистливая, тебя, небось, никто никогда никуда не пригласит».

Наташка отправилась спать, а я ждала маму. И вот она пришла, счастливая, улыбающаяся и слегка выпившая. Сонька подскочила к ней, изо всех сил ударила ее по лицу, крича «сволочь!», и что-то вроде «люди гибнут, Шура голодает под бомбами, а она...» Мама только плакала и повторяла: «Сонечка, за что?» Ну почему она все это терпит? Почему не даст этой Соньке так, чтобы об стенку треснулась? Мама ведь умеет сердиться и быть строгой... Тут Рая с криком оттеснила маму, а тетку подхватила подмышки и потащила вон. Тетка вошла в раж и вопила как резаная. Выбегали люди и сочувственно говорили: «Видать, телеграмму получила».

В Горьком у нас была пересадка, и к этому времени сестры уже были в нормальных отношениях. Билеты у нас были до Астрахани, и нам их быстро «закомпасировал», как тогда все произносили и писали, все тот же Джентельмен. Он оставался в Горьком и на прощание обнял маму, поцеловал нас и пожал руку Рае, которая его поблагодарила со слезами. К Соньке он не подошел, да и она не нашла нужным выдавить из себя хотя бы «спасибо». «И как только человеку не стыдно», – сказала Рая. Обе сестры молчали.

История эта повторилась один к одному через шесть лет. Из Ставрополя, где дядя Шура заведовал кафедрой после войны, Наталья в сопровождении тетки приехала в Ленинград поступать в университет. Почему-то они жили у нас. Наташка влилась в мою компанию, и мы бы весело проводили время, если бы кто-нибудь из мальчишек обращал на нее внимание. Она была новенькая, не слишком приветливая и не отличалась красотой. Как-то раз получилось так, что ребята зашли за мной вечером, и мы пошли «шмындить», то есть болтаться по улицам, без нее. Главное развлечение было топить друг друга в сугробах, засовывать снег за шиворот, валяться по заснеженным газонам и тому подобные игры. Заодно и курить, если было что. Ввалившись в комнату, красная и мокрая, я сказала Наташке: «Жаль, что ты с нами не пошла. Было так весело!» Семнадцатилетняя Натка заревела, Сонька закричала: «Сволочь!» и набросилась на меня с кулаками.

Я была ее на добрых двадцать сантиметров выше и, окрыленная ненавистью, схватила ее за кроличьи запястья и сказала тихо и внятно, как папа: «Ты больше никогда не посмеешь ко мне прикоснуться». Мама кричала мне: «Как ты смеешь», тетка Сонька – «шлюха», а Натка что-то типа «предательница». То есть я плохая, а они хорошие. И мама за них. Я вышла из квартиры и пошла спать к Тамарке Коган. Примечательно, что я чувствовала облегчение, как будто избавилась от злых чар и мучительной ненависти...

В Горьком, с трудом одолев посадку, мы попали во второй класс небольшого парохода. Все бы ничего, только бедная Рая получила место в трюме. Там была жара, теснота и духота, а взять ее к нам в каюту на ночь, где она могла бы спать хотя бы на тюках, было строго запрещено, и ей приходилось возвращаться в свою преисподнюю. А пароход едва шел, останавливаясь у каждой деревни, и на каждой махонькой пристани было загадочное слово «дебАрка-дЕр». Никто из старших не знал, что это за дебарка такая.

На одной из дебарок у причала расставили лотки с роскошными арбузами. Разрезанный арбуз сверкал ярко-розовым мясом. А вокруг все вгрызались в сахаристые ломти, обливаясь соком. Мы, конечно, захотели арбуза, а тетка категорически возражала, обещая нам дизентерию и пугая, что нас высадят с парохода. Но Рая решительно спустилась на причал и приволокла два огромных арбуза. Тетка Соня пригрозила, что того, кто заболит, она убьет своими руками. Но мы ели и ели от пуза. К вечеру меня стало рвать, и поднялась температура. Сонька ругалась и проклинала, но убивать не стала, так как боялась исходящей от меня заразы. Попросить дезинфицирующего средства у судового начальства было нельзя – нас бы действительно высадили. И тетка с Наткой отправились в трюм на Раино место. Скоро они вернулись – Соня поняла, что там куда больше шансов подхватить заразу. Мне всю ночь было очень плохо, а утром я покрылась крупной сыпью, и та же тетка сама идентифицировала у меня корь, и я так и приехала в Астрахань больная и слабая.

АСТРАХАНЬ

Она была громадна и ужасна. По крайней мере, мне так казалось. Раскинутая по дельте Волги, она делилась на районы, плохо сообщающиеся друг с другом. Все папины сослуживцы – преподаватели Академии – уже расселились в центральных районах, а нас было шестеро, и нам никто не хотел сдавать. Месяц, наверное, мы ночевали по очереди и порознь у папиных коллег, а потом сняли помещение в деревенском районе с названием Криуши. Это были настоящие Криуши, черные и грязные, с немощеными улицами, по которым ездили грузовики, выхлопывая черную вонь и перемешивая жидкую грязь. Солнечные дни не отложились в моей памяти; помню проливные дожди с ветром осенью, морозную ветреную зиму и летом сорокоградусную жару с суховеями, когда мелкий песок зудит сквозь закрытые окна, скрипит на зубах, и песчаный туман переходит в желтое небо. Народ мрачнолицый, озлобленный, ненавидящий «понаехавших» и уж, конечно, евреев. Население разношерстное – славяне, татары, калмыки, кавказцы, чуваш и т.д. и т.п. Судя по лицам, много помесей, лица «выковыренных» заметно выделяются. Дружбы народов, по моим впечатлениям и замечаниям взрослых, не наблюдается. В Криушах русские парни постоянно дерутся с татарами, и нам велят оставаться во дворе. Школа в центре за Кутумом (рукав Волги), ходить туда приходится по большей части пешком. В школе очень холодно, мы пишем в перчатках, но все равно я получаю так называемое комнатное обморожение кистей и ступней, которые будут болеть и распухать еще много лет. Когда идешь в школу, часто под ветром, дождем или снегом, думаешь прежде всего о школьном завтраке. Что сегодня дадут? Завтрак состоит из куска хлеба, иногда с повидлом, или (но никогда «и») кружки горячего сладкого чая, но часто без ничего. Это самое важное, потому что в Астрахани голод, по крайней мере, у нас. Конечно, не такой, как в блокадном Ленинграде, военный папа получает 1 кг хлеба, мама как служащая – 600 г, остальные четверо иждивенцев – по 400. Папа ежемесячно получает при-

личный паек, зато остальным, кроме хлеба, ничего не отоваривают. Деньги есть, но они не работают, рынок меновой; главная валюта – хлеб, курево, мыло, а также ценности, меха и пр. Я уже писала, как возвращалась домой с мечтой о бабкиной лепешке. Тетя Соня с ее любовью все выстраивать так характеризовала свои принципы распределения еды: на первом месте Адольф, на втором дети, на третьем Соня с Фаней, на последнем Рая с Бобкой, прибившейся к нам хозяйской собакой. Рая обижалась не на распределение, а на слова, а тетка с присущим ей черным юмором смеялась. Ближе к весне начались болезни: мама легла в больницу с дистрофическим поносом и вернулась оттуда страшная и худая, Натка подхватила в завшивленном классе сыпной тиф и попала в сыпной барак, откуда вернулась обрита (у нее были дивные косы!) и тощая, у меня пошли по всему телу карбункулы, которые прорывались с такой болью, что папа давал мне спирт. Наташкин тиф, сам по себе очень страшный, имел и другие последствия. Дело в том, что тетя Соня, врач-инфекционист, работала в двадцатые годы в тифозном бараке, и это послужило толчком к развитию ее навязчивого невроза – страха инфекции. Несмотря на это, она каждый вечер осматривала нашу одежду (здесь стоит напомнить, что разнощиком сыпняка являются не безобидные головные вши, а белые бельевые, которые появляются в годы бедствий и массовых перемещений). Наташка же с ужасом и слезами рассказывала, что в ее классе мальчишки на партах устраивают вшиные бега, отчего тетке, да и не только ей, становилось дурно. Она мучалась, металась по комнатам, и ее было очень жалко. Когда Наталья заболела, ее забрали из дома насильно, у нас сделали дезинфекцию, и мы ужасно воняли много недель. Тетку пустили в больницу только как врача-инфекциониста, и она, загнав внутрь свой невроз, выхаживала там Натку среди тяжелейших больных. Дома она кипятила свою больничную одежду и с ног до головы протиралась денатуратом. (Это действие в дальнейшем превратилось в один из ритуалов ее невроза.) Без нее слабая Натка имела большие шансы умереть. Когда Натка вернулась, тети Сониная болезнь резко обострилась, и

она уже никогда не смогла работать. Вдобавок, страх за голодающего в Ленинграде дядю Шуру доводил ее до того, что она стала глотать какие-то таблетки, и с этого, похоже, началась ее пожизненная токсикомания. По-настоящему понимала это только мама, Рая же называла это дурью, да и мы с папой недалеко от этого ушли. А дядя Шура слал из Ленинграда веселые письма, например такое:

Жену, дочурку и племянницу,
Свояченицу, свояка
Спешу поздравить, низко кланяться
Из Питербурха-городка.

Дальше шло описание своей вполне приличной жизни, но прорывалось и другое вроде: «Я очень скучаю по вас, так и представляю, как вы все сидите в теплой комнате, на кухне скворчит яичница на сковороде» и т.п. Мы с Наткой пережевывали сухую пшенную кашу и приходили в гнев («мы тут голодаем, а он...»), но тетя Соня кричала: «Дуры! Это у него голодные видения! Сидите жрите и Бога молитесь!».

Когда папин сослуживец и друг Меламед полетел в командировку в блокадный Питер, ему надавали массу продуктовых посылок. Мы тоже сумели послать два бидончика топленого масла – для дяди Шуры и Титы. М. пришел на Дегтярную, спросил Фанни Исаевну и передал для нее бидончик. Ни мы, ни он не знали, что дядя Шура переехал на Дегтярную. Меламед уже хотел уйти, но тут дядя Шура, который и открыл дверь, с ужасом спросил: «А мне?», и когда все разрешилось, заплакал. Мы с Наткой тогда многое поняли, но еще больше мы поняли в следующей эвакуации, в Самарканде, когда после частичного прорыва блокады к людям стали приезжать оставшиеся в живых родственники, которые нередко продолжали болеть и умирать. Приехал и дядя Шура. Но об этом в свой черед.

Тетка совсем распоясалась, всех проклинала, устраивала ежедневные скандалы, а потом случился роковой эпизод. Ходить из центра по льду Кутума всем запрещалось, но весь

народ ходил, хотя, бывало, и проваливались. Такой маршрут сэкономил полдороги, и мы тоже так ходили втихаря. Возвращаясь из каптерки с папиным пайком по Кутуму, бедная Рая провалилась в воду и замочила продукты, в числе которых был драгоценный сахарный песок. Дома она получила от Соньки головомойку. Рая тоже в долгу не осталась: «Бессовестная, кого вам жалче – песок или меня? Я утонуть могла!» «Если бы вы утонули, мне было бы жалче вас, но вы живы, и потому мне жалче сахар», – парировала тетка. Рая сказала: «Все, я уйду работать в детдом, меня туда давно зовут». Мы с Наткой плакали и умоляли, но она была непреклонна: «Я с этим злыднем нажилась, хватит, она и Няню замучила, Фаня Абрамовна мне как родная, но ведь слова сестричке не скажет! Я хоть сыта буду, да и вам принесу». И она ушла. Это было большое горе.

Вскоре и со мной случилась такая же история. Свернув с нахоженной тропинки к берегу, я провалилась в воду. Я хваталась за лед, но он обламывался, а пальто намокало и тяжелело. Я кричала «Спасите!», но астраханцы, поглядывая на меня, продолжали идти по тропинке. Варезки замерзли, я обессилела и пошла вниз, но тут подо мной оказалось дно! Теперь ко мне шел дядька и кричал, чтобы я не двигалась. Не подходя близко, он показывал мне как идти, чтобы я не провалилась в яму. Когда я выбралась, первой моей заботой были не замерзающие пальто и валенки, а что мне сказать дома, ведь меня убьют. И я придумала, что какие-то мальчишки столкнули меня в люк. По дороге я ревела, и все на меня смотрели, но опять никто не подошел. Дома меня все жалели, посадили в ванночку с горячей водой, растерли спиртом, дали сладкого чая. А ведь могли и убить.

Я открыла правду уже старому папе. Он пришел в большое волнение и повторял: «Какой ужас, какие мерзавцы, мы ж могли тебя потерять!».

Если взрослые астраханцы по отношению к нам вели себя подчеркнуто равнодушно, то ровесники издевались над нами как могли. Я уж не говорю о постоянных оскорблениях грязным матом, они преследовали нас криками «жидовки идут!»

Ух мы сейчас этих жидовочек...» Мы боялись пожаловаться, так как они угрожали нам. Но когда отец увидел нас на улице грязных и в слезах, правда вышла наружу. Он как был в форме, так и пошел их бить. Он был сильный и ловкий, руками он держал двоих, а бил их, я думаю, ногами. Впрочем, может быть, на эти воспоминания наслоилося желаемое. Так или иначе, выскочили родители и стали кричать, что папа не имеет права, но папа посоветовал им обратиться в милицию. Следующим паскудством было убийство нашей черепахи, которую мы любили и пестовали. Жила она в открытом сарае и любила прогуляться по двору. И вот прибегает наш приятель хозяйкин сын Витька и сообщает нам в большом раже, что Тортилла убита. Она лежала посреди дороги на большом камне с разбитым панцирем и головой, а рядом лежал другой камень, окровавленный. Мы перенесли ее и камни к заборам и оставили лежать на сутки. Мы были уверены, что этих гадов накажут. Но ничуть не бывало. Потом мы устроили Тортилле пышные похороны во дворе и написали эпитафию:

Прощай, любимая Тортилла,
Прощай, родная черепашка,
Своих хозяев ты любила,
Для нас для всех была милашка.
Тебя убили три злодея,
За это отомстим жестоко.
От подлых рук гадюк закрылось
Твое прекраснейшее око.

Эпитафия быстро перекочевала в руки все той же шпаны, и вся улица распевала ее на все лады.

А в моем классе произошло вот что. Мальчишки затолкали меня в свой туалет и стали наскакивать на меня, изображая групповое изнасилование. Я кричала, они улюлюкали. Прибежала наша воспитательница, оперативно закрыла спиной дверь и провела допрос. Убедившись, что физического урока они мне не нанесли, она, тем не менее, сказала, что школа

отдаст их под суд за попытку изнасилования, и их отправят в колонию. А сейчас они должны убраться из школы навсегда. Меня она утешала, дала мне хлеба и чаю, а вечером пришла к нам домой. Все сошлись на том, что в обиду меня не дадут, и я должна все поскорее забыть. Мама вся дрожала и все спрашивала: «Но почему она? Она же хорошая девочка!» На что моя обычно суровая учительница ответила: «Именно потому, что она лучшая девочка в классе». Во как.

А поганцев не потащили в суд, их перевели в спецшколу для дефективных, которая стояла в нашем школьном дворе, отделенная металлической сеткой, и мы, играя в лапту, могли наблюдать, как они ходят парами с даунами.

Нельзя, однако, сказать, что в отличие от астраханцев, мы были всегда на высоте. Был эпизод, который до сих пор меня скребет. Ходить за хлебом была наша с Натальей поочередная обязанность, а точнее привилегия. За хлебом всегда стояла очередь, и в морозы, и в жару. «Отпускали» товар подолгу. У нас, например, было шесть карточек. Из каждой карточки вырезалось по квадратику и наклеивалось куда-то. Потом на гиревых весах отвешивался хлеб. Часто он бывал с довеском. Довесок негласно полагался покупателю. И вот выбралась я как-то из магазина и остановилась у аптечного киоска получше уложить сумку, а довесок не убрала и предвкушала, как медленно пойду домой, пережевывая теплый кусок. Тут из киоска высунулся знакомый еврей-аптекарь и, жуя мокрыми губами, попросил: «Ты дай мне, доченька, этот кусочек, а я тебе завтра соды принесу». И что вы думаете, я сделала? Правильно.

Истории как-то ходят парами, и эта тоже повторилась. Война шла к концу, и мы уже вернулись в черный слепой Ленинград. Я поднималась с хлебом по лестнице. Лестницу ремонтировал пленный немец. Увидев хлеб, он попросил со своей стремянки: «Дэвишка, немного хлеба». В послеблокадном Ленинграде людей подкармливали, мы не голодали, мне очень хотелось дать ему хлеба, но газеты и радио сообщали о немецких преступлениях, мои одноклассники посещали прилюдные казни военных преступников, я заставила себя вспомнить, что

и он убивал и разрушал, и прошла мимо. Дома никого не было, и мне было плохо. Вечером я рассказала обо всем родителям. Мама нутужно сказала: «Молодец! Ты поступила правильно. Он наш враг». Меня это не убедило. Я знала, как можно хотеть хлеба. Папа помолчал и сказал: «Нет, Фаничка, он сейчас не враг. Он очень голодный человек». Я рассказала им про аптекаря, и папа сказал: «Это другое, ты сама была голодна». А ведь немец мог расстреливать родственников аптекаря.

С весной жизнь в Астрахани резко повернулась к лучшему. Вскрылись реки, и по ним понесло в море сплошной поток мертвой рыбы, не дожившей до весны. Ей дали всплыть, и мосты заполнились – нет, не рыбаками, а просто людьми с «немецкими» сетками типа сачков. Их надо было только опустить в воду на одну-две минуты и поднять уже полными рыбы. Господи, чего там только не было! Главную массу составляла вобла, сельдь и тарань, но иногда попадались и громадные сазаны и шуки. Теперь их можно было купить за деньги. Жизнь вернулась так же беспричинно. Голод кончился. Но и деньгам стал виден конец. Папина Академия наняла какое-то судно, и все военные моряки отправились в море за рыбой. Дня два их не было, и тут бежит Витька и возбужденно кричит: «Все на подмогу!» Папа шел по улице согнувшись, а за ним волочился невероятных размеров мешок сопротивляющейся рыбы. Потом мы не ходили в школу, была призвана Рая, и мы под руководством и при участии хозяйки заготавливали рыбу впрок. Даже недружественные соседи заходили помочь. Нам с Наташкой поручили сушить тарань и воблу. Ее надо было пару дней без всякой чистки солить в бочке под прессом, а потом продевать через глаза бечевку и вешать на солнце, и была уха и жареная рыба, и солили жирную селедку, и фаршировали сазана и шуку, и всех помощников звали в гости, и на нашей улице в самом деле наступил праздник. А воблу эту мы ели даже в День Победы.

Летом нас отправили от суховеев в лагерь. Там было хорошо и весело, но голодно. Мы ходили в степь к калмыкам, которые угощали нас черным плиточным чаем с молоком,

жиром и солью. Не помню, было ли это вкусно, но было сытно. И еще мы ходили за витаминами, то есть на помойку, где вылавливали обрезки моркови, капустные кочерыжки и т.п., чистили ножичком и грызли. За этим занятием меня и застала приехавшая мама. Она стояла на горке и кричала: «Галя, Галя, что ты делаешь?» Я подбежала к ней, она плакала. Почему? Ведь это было вкусно и полезно.

А тем временем шло лето 42-го года, немец подступал к Волге и занимал Северный Кавказ, не встречая сопротивления у многочисленных малых народов. Даже казаки, населяющие юг России, совсем не рвались в бой за власть Советов. Астраханцы тоже были в массе своей равнодушны к приходу немцев. Начали бомбить гавани и железнодорожные станции. Академия готовилась к новой эвакуации. Мы уже обросли хозяйством, а приказано было брать все, так как неизвестно где и как нас поселят. Начались бесконечные кошмарные сборы. Было известно, что мы поедем в Среднюю Азию, но куда, когда и как, никто не знал. Вещи упаковывались, потом надобились и бесконечно искались, пока мы не завели на тюках и корзинах подробные описи. Любимая Раха уже уехала с детдомом за Волгу и писала, что они не голодают.

И вот мы на вокзале. Сначала мы спали на тюках, потом нам дали эшелон. Все расположились в нем, а мы с Наткой даже устроили место для бумажных кукол, но тут начались тревоги. Трудно поверить, но я не помню, доходило ли дело до бомбежек, помню лишь, что мы, дети, опять сидели под вагонами и хотели пить.

Ехать поездом стало опасно, и мы снова выгрузились, переехали в гавань, были погружены на два громадных военных корабля вместе с академическим военно-учебным оборудованием и отплыли через Каспий в Красноводск. А ночью была бомбежка, стрельба корабельных зениток, ужас, крики, рвота. Куда деться на море? Что лучше – в трюмы, чтобы в случае попадания быстрее потонуть, или на палубы, где легче получить осколок? Насколько я помню, мы остались, где были, но где мы были – не знаю. Но и это кончилось без людских потерь, и

мы вошли в Кара Бугаз. Этот залив настолько мелок, что мы встали на рейде, и нас перевозили на берег чем-то вроде плотов. Наконец мы пристали к Красноводску. Солнце, пыль, заводы и невозможная питьевая вода – таки-да красная от мелкой глиняной взвеси и изрядно соленая. Мы хотим пить, но пить разрешают буквально в час по чайной ложке.

Города я не помню, помню, что все было отвратительным. Помню, что мы все время спали – где, сколько дней – не знаю. Потом мы погрузились в эшелон, состоящий из теплушек с тремя этажами нар. Сортиров не было, на остановках ходили до ветру: женщины направо, мужчины налево. У редких колонок или колодцев делали большую помывку, запасались водой и варили пищу, ставя котел на четыре кирпичика. Кирпичи и растопку возили с собой, а на месте детям поручалось собирать топливо. В дело шли перекасти-поле, фисташковые кусты, звериный навоз. Еда была из сухого пайка – однообразная, но вкусная: американский гороховый концентрат с лярдом или тушенкой, яичный порошок, чай и даже сахар. Спасибо дяде Сэму.

Нас окружала пустыня: сначала Кара-Кумы, а потом Кызыл-Кумы (черные и красные пески). Кызыл-Кумы были и вправду красноватые, а вот в Кара-Кумах ничего черного мы не заметили. Первый же восход вызвал всеобщее восхищение – кругом барханы, на горизонте горы (мы, дети, вообще гор не видывали), черные безлистые саксаулы, рогатые козлы и неподвижные толстенные столбики – не то сурки, не то суслики. За ними охотились большие птицы, наверное, ястребы. Иногда появлялись караваны навьюченных верблюдов, они шли медленно, подъезжая колючки. От этой необыкновенной картины невозможно было оторваться, и мы целыми днями сидели на полу теплушки, спустив ноги в просторные дверные проемы.

Место нашего назначения долго не было известно: то ли Ташкент, то ли Самарканд, то ли Андижан. В Ташкенте жили Равделя из нашей квартиры на Дегтярной, а также много друзей и знакомых. Дедушка Аркадий был тяжело болен болезнью недоедания пелагрой, но родители все равно хотели в этот

голодный Ташкент. Нас на сутки высадили в Ташкенте, и мы всех повидали, а после большую часть повезли в Самарканд. Ехали Голодной степью (Бек Пак Дала, кажется), вполне похожей на свое название, потом взобрались в горы Зеравшанского хребта и приехали в яркий, жаркий цветущий город.

Для начала всех поселили в караван-сарай. Это был громадный сарай с караванами кроватей и приятным запахом цирка. Из-за многосемейности мы опять не могли найти жилья, папиным сослуживцам сдавали по одной комнате и даже углы, но нам и этого не доставалось. Мы уехали из каравана самые последние, сняв отдельную квартиру из одной комнаты с печкой-плитой и холодных сеней. Приближались холода, с дровами были большие трудности, и папа принял тяжелое решение: перед отъездом из каравана он нанял грузовик, и мы в ночное время накидали в него саксаула, заготовленного для караванов, а отнюдь не для нас. Мы с Наткой были шокированы, а весь потный папа повторял: «Ничего, девочки, я вам потом объясню. У нас нет выбора». Саксаул – прекрасное высокоэнергетическое топливо не хуже угля, но пилить или рубить его твердые переплетенные стволы невозможно, и папа ломал и кромсал его с помощью костылей и кувалды. В квартире были кровати и стол. Папа сколотил из ящиков шкафы и этажерки, слепил мангалки, и мы, наконец, устроились.

Жизнь в Самарканде была много лучше, чем в Астрахани. По карточкам давали какую-то крупу джугару, хлопковое масло и сахарную свеклу, иногда даже тушенку и все тот же лярд от дяди Сэма; по улицам на крохотном ишаке ездил «ака» с бидонами дорожущего молока, торговали рынки, работали деньги. Наши вещи постепенно уходили на барахолку, а еще по карточкам давали промтовары, и надо было исхитриться получить яркую подкладку или обувь – узбеки это ценили. Но главное – было интересно. Мы жили в новом городе, тоже изрядно старом, с разнообразным населением. Вокруг были гористые полупустыни, изрезанные оврагами. Почти каждый день поутру я там «занималась альпинизмом», большей частью одна. Не могу сказать, что это было безопасное занятие,

зато я нагладелась на местную флору и фауну. Ярро-розовые цветы фишашек и дикого миндаля, голубые колючки, низкие ивы вдоль сухих руслиц, и маки, маки. Ящерицы зеленые, серые, желтые, страшные ползучие пауки, красавицы черепахи и миленькие ежи, которые охотно давали забрать себя в мешок. Это весна, а зимой чистый сухой снег, который не тает, а испаряется, не оставляя грязи. И какие-то хвостатые кролики, тушканчики, что ли. По выходным мы с родителями часто ездили на Зеравшан – горную грохочущую реку, окруженную голыми скалами и прибрежной зеленью.

В нашей части города жил разный люд. Был армянский квартал, были гнезда бухарских евреев, русских, европейских евреев, знающих идиш, и немало жаждущих эмансипации узбеков. Этнических трений не помню, если не считать того, что бухарские евреи, жившие в нашем дворе, не желали даже здороваться с нами, не то что соли одолжить. Я дружила с двумя девчонками, соседками и одноклассницами – армянкой Аидой и узбечкой Саидой. Моя общественная нагрузка была подтягивать их по разным предметам. Аидин отец был богатый винодел, и Аида ходила в шелках и бархате. У Саиды отец был какой-то советский начальник и носил не халат и чувяки, а костюм и галстук. После занятий меня часто звали к столу, перепадало и мясо. У всех местных на нашей улице были роскошные сады, виноградники и небольшие огороды, а в пригороде еще и бахчи, но мясо было и у местных большой редкостью. У Аиды иногда пахло бараньими беляшами, но меня на них не приглашали; впрочем, Аида иногда приносила мне в бумажке парочку холодных беляшей.

Дядя Шура называл моих подруг симметричными. И правда, Аида Цатурова жила слева от нас, а Саида Умарова справа. Дядя Шура со вкусом повторял: Аида Цатурова, (и отводил руку влево) и Саида Умарова (рука вправо). Каждая дружила только со мной, а друг другом интересовались только через меня. Аида спрашивала: «А Умаровы едят за столом или за достарханом (специальный ковер для еды в традиционном доме)?» А Саида спрашивала: «А Цатуров бьет жену за то, что

она гуляет?» И правда, винодел часто оставался за городом в винодельне, а красивая Цатурова, разрядившись в кружева и бархат, шла гулять под всеобщие восторги.

Самое интересное был Старый город, населенный традиционно одетыми людьми, нередко в чалмах и паранджах, с другими лицами, которые в основном говорили на другом, не узбекском языке. Оказалось, что это таджики. Они объяснили нам, что именно они испокон веку заселяют Самарканд, но при русских их стали записывать узбеками и позакрывали много школ. А какие же они узбеки? Узбеки – косоглазая кочевая орда. А они персы, известные своей цивилизацией три тысячи лет. Меня отпускали в старый город с Саидой, которую там знали как дочь своего отца и приветливо встречали. Не буду описывать этот экзотический мир, Эль Регистан и другие памятники, арабские надписи, мечети, минареты и базар, бесконечный базар вдоль главной улицы. Все это многократно описано, видно, заснято, исхожено во всех восточных городах. Сходите на базар в Старый город в Иерусалиме. Очень похоже. Ну, дигитальную технику продают. Но есть и старые кастрюли и лепешки.

В это время мы с Натальей стали отдаляться. Главной причиной была ее болезнь, бедняга опять тяжело заболела. На этот раз малярией. Она пила акрихин, после приступов была слаба и ужасно выглядела. До войны она была пухлощеккой девочкой с большими серыми глазами и роскошными косами. Теперь она была худая и желтая как лимон, да и волосы после тифа росли плохо. Она почти ни с кем не дружила, стеснялась выходить на улицу, и характер ее очень изменился. Потом приехал дядя Шура, и они переехали через улицу в дом богатых соседей-евреев, которые были счастливы потесниться ради ленинградского профессора, и Натка подружилась с их детьми. А я в это время носилась босиком по городу и горам, играла в ляндр (маялку) и штандер, жевала «закис» (жвачка из растущего неподалеку сагыза, в которую прижевывались разноцветные карандаши) и, как видите, выжила, воровала, где могла фрукты, ходила в очереди за пайками и т.д. Именно

в это время тетка стала смотреть на меня косо. Но по-прежнему мы с Наткой оставались самыми близкими.

Кстати, мое воровство давало приличный довесок к нашему питанию. Например, можно было походить по крышам, где сушились урюк, вишни и яблоки, набрать мешочек, потом под шелковицей у нашего дома набрать приторно сладкого грязного сухого тутовника и после хорошего мытья сварить густой и сладкий компот. А уж если в доме был рис! Я бегала на промысел в разные места, чтобы не засветиться, и обеспечила нас сухофруктами на много месяцев вперед. (Надо же, любовь к собирательству и заготовкам я сохранила на всю жизнь!) Что-то не помню, чтобы меня ругали. Помню, что ели и гостей кормили.

Наши мудрые родители в эти тяжелые годы не забывали заниматься нашим образованием. Папа носил нам книги из библиотек, он и дядя Шура занимались с нами французским и историей, папа показывал химические опыты, на которые собирались соседские дети, дядя Шура рассказывал нам про медицину и психов, и оба устраивали нам географические викторины. А какие у нас были детские праздники! Папа, как и всю дальнейшую жизнь, показывал фокусы, я и сейчас не знаю, как бумажные шарики проходили через деревянную столешницу. А дядя Шура мастерски изображал своих психов. Вот идет тихий шизофреник, вроде ничего особенного не делает, но выражение лица, походка и жесты у него очень странные. Кто смеялся, а кто и затихал в благоговейном ужасе. Вот кататоник застыл в неестественной позе. А это гвоздь программы – человек со стеклянной головой. Он осторожно входит, поддерживая двумя руками невидимый шлем, медленно подходит к стулу, аккуратно садится, снимает голову и ставит ее на стол. Потом со вздохом облегчения ложится на кровать. Родители соседских друзей ценили это общение и иногда посылали нам гостинцы.

Но главное – родители дали нам английский. Мы увлеченно занимались несколько раз в неделю в группе у мадам Жерве.

Мадам Жерве работала в Академии «культурником», то есть ведала всем культурным: экскурсиями, самодеятельностью и

прочим. Раньше она преподавала в Академии английский и французский, но потом арестовали ее мужа-адмирала вместе со знаменитым Акселем Ивановичем Бергом, тогда вице-адмиралом, а потом известным академиком. А.И. был немцем, Жерве тоже вряд ли был русским. Преподавать мадам Жерве было запрещено, но академическое начальство по всеобщему мнению поступило благородно, оставив ее в штате, а не выбросив в незнакомом городе на улицу. Она была замечательным преподавателем, за два года заложившим в нас основы чтения, письма и разговора. Уроки были очень дешевые; в ее положении она и таким была рада. Я обязана ей куском хлеба: в отличие от нее, меня-таки выгнали уже в «вегетарианские» времена, в 81 году из Ленинградского Университета по «телеге» КГБ, и с тех пор я больше двадцати лет зарабатывала английским.

В начале весны 43-го года приехал дядя Шура. Ленинградская блокада была прорвана, и через эту дырку потянулся ручеек людей. Хотя ленинградцев немного подкармливали, люди продолжали умирать и в городе, и в дороге, и в эвакуации. Состояние дяди Шуры и Титы было плохим, и им разрешили эвакуироваться, несмотря на то, что они были врачами. Тита поехала в Ташкент, а дядя Шура к нам. До вокзала было километра два пешком, и мы все отправились его встречать. Родители нас предупредили, что он худ, слаб и в плохом нервном состоянии, но оказалось, что пол-эшелона представляло куда более тяжелое зрелище. Многие еле ходили, плакали, не могли нести свои небольшие пожитки. Дядя Шура, несмотря на жуткую худобу, держался молодцом. Он был пострижен, побрит, оживлен, шутил. Плакать и причитать папа запретил, и встреча получилась радостной. Погрузив вещи на «такси» (ишака), мы отправились домой. Отдохнув и немного отъевшись, дядя Шура стал много бродить по городу просто так и по делам трудоустройства (его ждало профессорское место в медицинском институте). Мы старались ходить с ним и слушать его рассказы про блокаду. Про бабушкину смерть он говорить не хотел, и мы с Наткой получили еще одну тайну. Насмотревшись и

наслушавшись блокадников, мы мало верили в бабушкину гибель под бомбежкой, и каких только ужасных смертей мы себе ни представляли. Впрочем, что может быть страшнее самой вероятной смерти – от голода и холода.

В одну из таких прогулок мы пошли встречать маму, которая обычно возвращалась с работы с судками. В судках было два обеда, которые выдавали моим родителям в академической столовой. Этот деликатес состоял из баланды – жидкого пюре из муки со звездочками комбижира – и затирухи – более густого пюре из джугары, иногда с пеммиканом (твердое сушеное соленое мясо из Америки). Мама осторожно несла по горбатым немоощенным улицам полные судки, но они все же слегка плескались. Увидев пролитые капли, дядя Шура закричал, забрал у мамы судки и повернул домой, понося маму последними словами. Мы плелись за ним, мама повторяла: «Шура, ты сошел с ума! При детях!» Но дядя Шура в ярости повторял слова, из которых лучшим было «блядь». Мы с мамой плакали. Дома дядя Шура продолжал кричать, но тетка воскликнула: «Шура, ты же психиатр, мы не голодаем, неужели ты не понимаешь, что у тебя голодный психоз?» Дядя Шура растерянно остановился, подумал и выбежал на улицу. Но это был не последний взрыв такого рода. Особенно огорчали всех объедки, которые он постоянно припрятывал под подушкой. Он соглашался с уговорами, но потом все повторялось. Тетка стала потихоньку их выкидывать, дядя Шура не реагировал. И постепенно это прошло.

ДОМА

В июле 44 года, вскоре после окончательного снятия блокады, Академия отправилась домой в Ленинград. Способ передвижения был все тот же – эшелон из теплушек. Настроение было приподнятое. Его не омрачил даже эпизод с солью из Аральского моря. Около моря по дешевке продавались мешки

соли, бывшей в дефиците. Папа не дал нам купить соль и отговаривал других, за что его чуть не побили продавцы. Папа старался объяснить всем, что в аральской соли содержится большое количество примесей, из которых особенно зловредны соли магния, вызывающие понос. Большая часть пассажиров папу не послушала, и вскоре началась чистая драма: людям требовалась немедленная остановка, а соединиться с машинистом могло только начальство из своего купейного вагона. Переходы же из вагона в вагон в товарных поездах не предусмотрены. Но в нашем вагоне был порядок – все послушали папу.

Как мы ждали возвращения! Мы с Наткой поклялись, что поцелуем ленинградскую землю. Натка осталась в Самарканде с родителями, а я, везучая, сейчас буду в Ленинграде. И вот мы подъезжаем какими-то запасными путями и надолго останавливаемся. На нас смотрят почерневшие кирпичные здания без окон, а то и без дверей. На их месте фанера или дырки. У ближайшего здания снесен верхний угол, и на оголившейся стенке на чем-то висит стул. Вокруг взломанный асфальт, ржавое железо. Все полно жизни – снуют люди с папками, вокзальное радио что-то объявляет. Значит, так теперь живут и работают. Это невыносимо. Кто-то ведь сидел на этом стуле...

Люди выходят размяться. А как же поцеловать землю? Эти завалы и грязь? В другой раз. Некоторые успевают добраться до дома и вернуться. Вокруг них собирается весь эшелон. Результаты вылазок разные. У кого-то все разграблено, у кого-то не все разграблено, у многих жилье пострадало от обстрела. Наш эшелон первый, в следующем поедут те, кто остался без жилья. И тут время пропеть гимн руководству Академии. Оказывается, нашему жилью полагалась бронь, и усилиями начальника материальной части в чине адмирала наши беспорядочно занятые квартиры были освобождены, а нам выданы ордера. К приезду второго эшелона (через много месяцев) новое жилье тоже было обеспечено. Парадоксально, но это было не так трудно: в пострадавшем от бомбежек и обстрелов городе было много бесхозного жилья – люди вымирали семьями и квартирами.

И вот мы едем домой, не помню, каким способом. Как тут упомнить, когда передо мной проплывает любимый и долгожданный Ленинград, и это страшно. Лето, яркий день, мой район, но я ничего не узнаю. Говорили – разрушен, но разрушения не так уж часты, зато каждый дом неузнаваем – щербат от обстрелов, черен от буржук, трубы которых торчат из окон, и слеп от отсутствия стекол. Садики куда-то делись, полно свалок и строительного мусора – город начинают расчищать. Родители повторяют: «Почти все цело», но и они подавлены.

Дома живут чужие люди, но наши комнаты освобождены, и большая часть мебели на месте, хотя и пуста. Многие книги папа перед отъездом сдал на хранение, остальное, видно, стопили, оставив лишь полное собрание сочинений Ленина. «И в огне не горит», – сказал папа. И жизнь началась.

Было лето, и я каждый день ездила по разным трамвайным маршрутам, смотрела, запоминала названия, выходила, гуляла по улицам и набережным, привыкала к столь изменившемуся городу. Дома соседка, жившая в титиной комнате папина троюродная сестра Нинка Межова, учила меня готовить. Нинка была клиническая шизофреничка и время от времени попадала в психбольницу, где я ее навещала. Она работала, была волонтером-донором и вкусно готовила. Ее главная мания была ожидаемая свадьба. Время от времени она надевала белый свадебный наряд и шла в нем в общественные места – в баню, парикмахерскую, юридическую консультацию. При этом она не забывала взять с собой свои инвалидные справки, чтобы не платить юристам. Она не умолкая рассказывала про военную жизнь, работу в госпиталях, а также про жениха, который все время менял свою судьбу и облик. Она писала книгу про семью Ульяновых «Примерная семья» и постоянно ходила в библиотеку. Эта книга и была причиной взрывов, при которых она попадала в больницу. Ведь литературы про Ульяновых хватало, и она каждый раз воевала с авторами и издательствами, обвиняя их в плагиате и антисоветском нежелании ее печатать, о чем

писала письма куда надо. Еще она была поэтессой и писала такие стихи: «Грациозная Галина, Развивайся, духовно расти. Героическая Родина Зовет ей пользу принести».

Война шла к концу, но эвакуация еще долго не кончалась. Самарканд оставался в мыслях, рассказах, в тоске по солнцу, горам, по босому приволью, друзьям. То ревность по дому, как сказал Блок.

ТЕТЯ СОНЯ, МАМА, НАТАЛЬЯ И МЫ С АЛЕЧКОЙ НА ФОНЕ ЭПОХИ

Перечитывая свои «отрывки», я полнее осознаю, какой отрицательной доминантой была в моем детстве Соня, несчастная больная женщина. Что же было первично – болезнь или несчастье? Она была тяжелым невротиком, а несчастье ее во многом состояло в ее женской непривлекательности, да еще на фоне красоты и женственности ее сестры. Я понимала это с малолетства, тут и к Фрейду не ходи. Эту непривлекательность, к сожалению, унаследовала (или «заразилась»?) от матери Наташка, и опять же рядом была я, популярная девица, окруженная мальчишками. Тетка была умна и наблюдательна и страдала за Наташку страшно, нередко рыдая в ее присутствии: «Доченька моя несчастная!» Умна или нет, но она наносила Наташке неизлечимые удары всю жизнь и даже после своей смерти. Расскажу один эпизод. У нас уже был сын Дима, и мы жили на даче в Шувалове. Неподалеку жили Наташка с тетей Соней, и где-то рядом снимала дачу наша общая подруга Т. К нам всем ездило много общих гостей; мы ходили на озеро, в лес за грибами, устраивали пикники и пр. Больше всего кантовались у Т., так как она жила одна, родители практически не появлялись. Среди гостей бывал наш бывший сокурсник Г., в которого Наталья была «дико» влюблена и рассчитывала на взаимность. Как-то раз тетка вызвала Т., которую знала с

детства, на randevу. При встрече она сказала: «Ты знаешь, что Наташа любит Г., и мы имеем на него виды. Выполни мою просьбу, пообещай мне никогда больше с ним не встречаться». Т. возмутилась и сказала, что она взрослая и сама решает, с кем и когда ей встречаться, однако успокоила тетку, сказав, что у нее с Г. чисто приятельские отношения, без всяких видов. После этого многолетняя дружба Наташки с Т. пошла на спад, да и Г., насколько я помню, с концом лета не появлялся на горизонте. Я ничего не знала об этой истории до самого недавнего времени, когда Т., уже в Америке, сама мне об этом рассказала.

Я тоже доставляла тетке немало мучений. Когда уже после войны я по нашей с Наташкой просьбе приехала на Ставрополье проводить лето «на психу» (подсобное хозяйство дяди Шуриной психбольницы, где он вел медицинское наблюдение за работавшими там больными), тетка, не видевшая меня два года, так расстроилась, что закрылась на пару дней в спальне под предлогом невроза. Мне было лет 15–16, и у меня был бурный роман, о котором я тут же рассказала Натке. Она пришла в восторг, и мы вместе читали чуть ли не ежедневные письма моего хахалы и вместе на них отвечали. Выйдя из спальни и невроза, тетка оглядела меня и неодобрительно сказала: «А ты красивая». Любимый дядя Шура тоже, похоже, охладел ко мне и как-то сказал: «Ты бы прикрывала плечи, когда люди приходят». Я обиделась. Почему именно я должна их прикрывать, когда все в эту жару ходят в сарафанах и майках, в том числе и он сам? И я нагло сказала: «А как же твои плечи?»

Тетка любила повторять, ни к кому не обращаясь: «Красивая и бездушная, как Элен Безухова». Или: «Натали Гончарова, красивая и пустая». Один раз я с обидой и патетикой процитировала Блока: «Под насыпью во рву некошеном / Лежит и смотрит как живая / В цветном платке, на косы брошенном, / Красивая и молодая». Так было бы лучше?» Моя отнюдь не бесчувственная тетка вскрикнула, убежала и после этого вела себя приличнее.

Дружила тетка, а за ней и Наталья, преимущественно с мужчинами – Алеком, Юрой Варшавским, теткинским психиатром Либихом, нашим Димой, Левоу Штерниным. Жены были им неинтересны и часто к встречам не допускались. Тетка любила ранжировать людей, эмоции, события. Когда ребенком я упрекала ее в несправедливости, она с вызовом говорила: «Правильно. В первую очередь я защищаю Натку, потом тебя, потом Шуру, потом Фаню. И я всегда буду защищать своих перед чужими». После смерти мамы она говорила: «Моя первая боль – это моя дочь (живая), моя вторая боль – мой муж (покойный), моя третья боль это моя сестра». С винами дело обстояло иначе: «Моя первая вина это моя мать, моя вторая вина – моя дочь, потом моя сестра. А потом муж». Перед смертью она завещала Натке, которой было за сорок, три вещи: «Во-первых, защити диссертацию, во-вторых, сохрани квартиру. В-третьих, роди ребенка». Наталья за год прилежно написала и с блеском защитила давно пылившуюся диссертацию, что позволило ей оформить на себя квартиру, но на ребенке она сломалась. Она назвала девочку Соней, постоянно сидела на больничном, продолжала, как и мать, злоупотреблять ноксироном и в 52 года мгновенно умерла прямо в сониной школе.

НА СМЕРТЬ НАТАЛЬИ

Полузабытая детская явь,
Вздутые шторы балкона...
Как же к тебе теперь? Разве что вплавь –
Не докричаться Харона.
Детская ревность, смешные дела,
Глупые злые девчонки...
Я победила, а ты – умерла.
Кончились страшные гонки.
Только напрасны победы мои –
Счеты не сведены эти.
Мчатся за мной несвершенья твои
И нерожденные дети.
Есть ли надежда? Простишь ли? Уйдешь?

Или в последней обиде сомкнешь
Грозные мертвые брови?
Что ты стоишь в изголовье?
Апрель 1984

Как уже понятно, Соня, которая все делала неистово, неистово любила троих. Первое место занимала, конечно, Наталья. Потом с немалым отрывом шли дядя Шура и мама, уж не знаю кто за кем в ее ранжировке. Все трое обожали ее и добровольно находились под ее властью. Впрочем, слово «добровольно» здесь мало подходит. Воля и сила исходили от Сони, хотела она того или нет. Главное желание ее жизни было видеть Наташку счастливой. Слово «видеть», однако, здесь не метафора. Она готова была на все для Наташки, но не понимала, что на самом деле она должна была сделать одно – освободить ее от себя. Не берусь сказать, как. Но если бы Наташке привелось уехать в другой город года на два, жизнь ее могла сложиться иначе.

С мамой Соня была очень близка с младенчества до маминей смерти. Хотя разница в возрасте была небольшой, Соня всегда была старшей сестрой. По рассказам Няни мама была у бабушки Маршовой любимицей, но распоряжалась ею, да и самой бабушкой, Соня. Мама всю жизнь обожала ее и боялась. Соня могла помочь и наказать, приблизить и оттолкнуть. Во время двух тяжелейших кризисов в маминей жизни Соня оказывала маме горячую поддержку, что называется, взяла ее под свое крыло.

У Сони было немало знакомых, втянутых в сферу ее «чар». Она была умна, обладала редкой независимостью суждений, в том числе в области литературы и искусств, бывала остроумна и ценила юмор. Среди ее окружения бывали люди намного ее моложе, в основном из наших с Наташкой друзей, по большей части, как я уже говорила, мужчины. Мне всегда казалось, что она сама их назначала друзьями. Если она чувствовала в человеке слабину, она призывала его на randevu, поражала своим умом и неординарностью и зачисляла в свою свиту. Она старалась постоянно поддерживать с ними контакт, и нередко

отношения переходили в такую фазу, когда она могла вызвать человека среди ночи без особой нужды. Впрочем, у нее с ее постоянными клиническими тревогами всегда была нужда. И столь же зорко она видела, на кого не стоит тратить чар. Она порой и ценила их, но к аудиенции допускала редко. К ним относились, в первую очередь, папа и Рая.

Своим внешним видом она демонстративно пренебрегала. И в самом деле, зачем Ей это ничтожное благообразие? В старости она ходила в обесцвеченных от хлорки халатах, надетых на ночную рубашку (так гигиеничнее), небрежно причесанная (свои густые волосы она, причесываясь, с силой и проклятиями рвала), с желтыми от курева зубами и кусочками табака на губах (из-за боязни инфекции она не прикасалась к губам). О лечении зубов не могло быть и речи.

Когда папу арестовали, мама оказалась в большем одиночестве, чем можно было предполагать. Близкие друзья звонили редко, и мало кто приходил, отдалились даже живущие в нашей квартире папин брат дядя Саша и тетя Валя, всегда бывшие членами одной компании. Я помню, как мама жаловалась тете Лиде Рабинович: «Ну, я понимаю, в гости не берут, теперь все боятся, я бы и сама не пошла, но почему не взять меня в кино или на выставку?» Почему нас боятся? Почему не приходит ко мне на день рождения Алеша Ансельм? – Загадка. Тетя Лида была женой арестованного годом раньше Мули Рабиновича, папа сам не мог по правилам спецотделов посещать дом предателя, но мама к тете Лиде все же ходила и меня брала, и Лида приходила с дочками Майей и Олей к нам. Ну а теперь две соломенные вдовы были на равных. Я уже писала, Розенберги (дяди Шурина фамилия), поддерживали нас не только морально, но и материально, от дяди Саши ничего похожего мама не видела. В общем, вокруг мамы остались пять близких людей и помощников – тетя Соня, дядя Шура, Рая, «трусиха» Тита и тетя Лида. По тем временам это было немало.

Второй кризис – уход отца – был для мамы гораздо тяжелее. Она была уже намного старше, и тяжелейшую обиду нанес ей не советский режим, а главный человек ее жизни, для которого

и она всегда была главной. Папа был кумиром в семье и у друзей и знакомых, его верность принципам ни у кого не вызвала сомнений. Умный, порядочный, широко образованный, скромный и, главное, добрый, он не мог, казалось, так поступить. Читая мамины письма в НКВД и пр. во время папиного тюремного заключения и просто их личную переписку, я и сейчас испытываю боль и обиду. А каково было маме? Она и подумать такого не могла, пока не получила (можно только догадываться от кого) анонимное письмо, и первым делом побежала к тете Соне. Странно, но когда у окружающих прошел первый шок, у мамы опять осталась лишь верная пятерка. Тита частично выпала, но осталась я, которая при всей моей боли и обиде за маму и за себя была в то время влюбленной студенткой и мало бывала дома. Остальные, видно, так боялись потерять обожаемого Адольфа, что от мамы быстро отделились.

Тетя Соня же и дядя Шура давали спокойные и мудрые советы. Другое дело, что советы эти не помогли. Главное – сохранять прежние теплые семейные отношения. Успокоить Галю, не позволять ей выяснять отношения с отцом, наоборот, усилить контакты. Никакой мрачности и истерики, ни слова больше об анонимке. Надо помнить, что именно с такими ответственными по отношению к семье людьми и происходят в пятидесятилетнем возрасте подобные вещи. Типичный предклимактерический психоз. Все пройдет, надо набраться терпения.

Но ничего не прошло. Папа переехал к Евгеше, как все называли папину вторую жену, а мама с тяжелейшим нервным срывом попала надолго в больницу, и я с ужасом видела, что она в прямом смысле теряет рассудок. Когда она выкарабкалась (а могла, по мнению дяди Шуры, и не выкарабкаться), она была уже другим человеком. Веселой и красивой мамы больше не существовало.

После больницы мама вернулась в другой дом: там не было папы, а была взрослая дочь со своей жизнью: Алек, за которого я собиралась замуж, и постоянные тусовки. Она любила

Алека, тусовки ее развлекали, но она называла себя довеском. С нашими квартирными родственниками контакты были лишь на бытовом уровне. За это время они сошлись с Евгешей, а для мамы это было невыносимо. Вскоре я вышла замуж, Алек переехал к нам, а мама все чаще проводила вечера у тети Сони. Она пыталась таскаться по друзьям, но я буквально запретила ей, услышав тети Валину реплику по телефону: «Фаня опять вчера весь вечер просидела у Хейфецов». Только тетя Лида осталась с мамой и не общалась ни с папой, ни с его новой семьей.

В довоенные годы моего детства тетя Лида Рабинович (мама называла ее Лида Гессен) и ее дочки Майя и Оля были самой близкой нам семьей. Я всегда любила тетю Лиду – красивую, добрую, с успокаивающим голосом и красивым узлом волос на затылке, а в те годы я относилась к ней как спасительнице от тетки Соньки. Дело в том, что родители снимали нам общие дачи (мы – это Натка, я, Майя и Оля). Муля Рабинович и папа сидели по тюрьмам, на даче хозяйствовали тетка Сонька и Рая, остальные родители только наезжали, причем мама, если и приезжала в выходные, всегда была измученной и заплаканной после очереди в тюрьму с продуктовой передачей. Потом родители надолго запирались в комнате. Тем не менее, дачная жизнь была самым счастливым временем тех лет. Большой сад без грядок, собственный лесок за домом, где собирались грибы, крокетная площадка по моде тех времен, приезды мороженщика с вафлями в потрясающей машинке, река Оредеж с крутыми красными берегами и др. и пр., от чего и сейчас дух захватывает. Но тетка Сонька! Она всю жизнь являла собой демонстративную несправедливость. И единственным противостоянием ей была твердость тети Лиды. Именно справедливостью она мне и запомнилась.

Наша девчоночья компания была структурирована по возрасту. Старшая, Майя, была естественно главная. Ей во всем подражала Натка (на два года младше), потом шла я (еще на год), а потом Оля (еще на два года). И вот бабушка Маршова сшила и вышила нам всем одинаковые украинские костюмы: сарафанчики с цветочками, вышитые блузки и переднички.

И мы отправились по главной улице поселка Сиверская, красуясь перед прохожими: Майя, Натка и Оля – все с шикарными толстыми черными косами и я – блондинка с жалкими хвостиками-косичками. Какой-то дядька остановился и сказал: «Какие красивые девочки, и одеты одинаково! Вы, наверно, сестрички?» – «Да», – гордо сказали мы. – «Родные?» – «Мы родные, а она двоюродная», – показали они на меня. Я промолчала, чтобы не позориться. Но когда он отошел, я стала их упрекать. И тут эти гадюки под руководством Маечки стали петь, пританцовывая: «Мы родные, а ты двоюродная». Я вскипела и пообещала догнать дядьку и рассказать про обман. Они стали умолять меня этого не делать, но как только мы отошли на безопасное расстояние, они продолжили свои дразнилки. Дома я рассказала тете Лиде про свои обиды, на что «родные» продолжили свои песни и пляски. Тут я совсем рассвирепела и бросилась их бить под одобрительные возгласы тети Лиды. Выскочила из дома Сонька и накинулась на меня с кулаками и проклятиями. Тетя Лида бросилась на мою защиту и упрекнула тетку в несправедливости. «Я не позволю бить Наточку», – возопила тетка. «А я не позволю бить Галку», – сказала Лида. И таких историй было немало.

Мы продолжали дружить и после. Фактически, до начала массовой эмиграции мы снимали дачи в Усть-Нарве, и дружили уже наши дети. И сейчас, раскиданные по трем разным странам, мы ощущаем себя близкими.

Мамин теперешний статус был источником постоянных травм, и именно в это время она еще сильнее прильнула к Соне, став жить фактически на два дома. Она во многом взяла на себя ведение Сониного дома и нередко повторяла: «Они бы без меня пропали». И правда, «Фуфа, приезжай скорее» постоянно звучало по телефону в ее отсутствие. А Алека тем временем сослали работать в невыразимую глушь на небрежно замаскированный пороховой завод, и эта история заслуживает отдельной вставной новеллы.

РОШАЛЬ

За что этому захолустному поселку городского типа дали имя французского еврея, понять трудно. Вроде был такой социал-демократ, тоже, наверно, достаточно захолустный. И вот Алечку, лучшего студента своего курса химического факультета, блиставшего в СНО (Студенческое Научное Общество), «распределяют» по окончании Университета на Рошальский пороховой завод на должность сменного мастера. Распределения боялись больше вступительных экзаменов (ну, в крайнем случае не поступишь), не говоря уже о выпускных (куда они денутся). Распределение принято было проводить в соответствии с академическими успехами (лучших в аспирантуру, на университетские кафедры), но это нигде не регламентировалось, поэтому был возможен любой произвол. Но все-таки старались соблюдать приличия: например, отличников-евреев в Университете не оставляли, но могли распределить в какой-нибудь прикладной ленинградский институт. Теперь же шел 52-й год, разгул антисемитизма, дело врачей, засилье КГБ и райкомов. Члены комиссии тоже были под этим засильем, возможно еще в предыдущем году они постеснялись бы перед своими студентами так позорно себя вести. Председателем комиссии был проректор, главный университетский негодяй Колбин (вот фамилия!), безграмотный доцент-химик (обычно проректором бывал известный профессор), наверняка гебист. Алечке, человеку приветливому, неконфликтному, всегда с обаятельной улыбкой, досталось худшее из распределений. Обычно такие заявки просто не рассматривались комиссией – мы, мол, научные кадры выпускаем, а не сменных мастеров. На наши жалкие протесты – игривый ответ: вот мы и посылаем лучших в самые трудные места поднимать производство. (Не знаю, куда уж выше.) Ах, жена еще учится? Ну, вот доучится и приедет к вам.

По молодости мы не поверили, что это окончательно, и Алек отправился хлопотать в Москву и Рошаль. Кончилось это тем, что его вызвали в суд в районном городе Черусти и приговорили

за прогул к шести месяцам исправительно-трудовых работ по месту работы с удержанием 25-ти процентов зарплаты (т.н. 6 по 25). То есть, карьера началась с судимости.

Завод принадлежал Министерству загадочного среднего машиностроения, у входа висели результаты соцсоревнования по производству целлулоидных игрушек, единственного «открытого» (побочного) продукта секретного производства. В народе же завод еще с царских времен называли «Пороховой». Ну, прямо славянский шкаф. Завод был громадный, градообразующий. Большинство жителей на нем работало, «отоваривалось» в его магазинах, жило в его домах. Главное развлечение рабочих было питье заводского спирта и нюханье эфира. Проходные завода охранялись строго, ничего не вынесешь. С эфиром все было просто – нанюхался в эфирной яме свободного доступа и гуляй себе, пока не отойдешь. Пьяного в стенах завода немедленно увольняли, а это было трагедией для семьи. Но не пропадать же бесплатному спирту, и изобретательный народ придумал такую технологию: за пару метров до проходной он выпивал сколько мог спирта, а потом не дыша чинно проходил через проходную. За проходной он бежал столько шагов, сколько здоровье позволяло, а потом падал замертво. Говорят, даже в лютые морозы никто не замерзал, спирт, как известно, не замерзает.

И вот, я отправилась в Рошаль в феврале, в студенческие каникулы, а была я на шестом месяце беременности. Дорога была с двумя пересадками – в Москве и в Черустах, откуда до Рошалья вела тупиковая ветка, по которой при необходимости ходил заводской подкидыш. В купейном вагоне Красной Стрелы я разговорилась с соседом на тему «А как у вас с мясом, а как с мануфактурой, есть ли спиртное», пока он не спросил: «А как у вас с евреями?» Я взяла себя в руки, подумала и сказала: «Евреи у нас есть».

В Москве я пересела на казанский пассажирский поезд – другие в Черустах не останавливались – и, войдя в бесплаткартный вагон, попала в незнакомый мир. Станный люд с дикими, как мне показалось, лицами, то плоскими, то с непо-

мерно крупными чертами, с глазами от монголоидных до голубых – это были разнообразные народы Поволжья. Слышались разные языки, плохой русский, с верхних полок торчали вонючие голые ноги, одна пара таких ног свисала прямо перед моим лицом. Все курили трубки – и мужчины и женщины. Моя просьба убрать ноги и не курить не изменила деревянного лица языческого бога, сидевшего на верхней полке. Я не успела добежать до сортира, как меня стошнило в мусорное ведро проводника. «Что ж вы, дамочка, таким поездом и в таком вагоне едете, да еще в положении?» – спросил проводник. – «Да мне всего до Черустей». – «Сидите уж у меня».

В замороженных Черустах меня встретил Алек с расстроенным лицом: комнату снять не удалось, придется мне пока ночевать в общежитии в женской комнате. Я не стояла на ногах, меня тошнило. Я так мечтала его обнять, но вместо этого разразилась слезами и проклятиями.

Жить в общежитии было невозможно еще и потому, что от водопроводной воды воняло сероводородом на весь дом, и меня тошнило. Была еще на примете комната на деревенской окраине, но считалось, что жить там нельзя из-за полного отсутствия удобств. Чтобы попасть туда, надо было переходить через большое снежное поле, мороз был страшный, и в валенки забивался снег. Мы пришли к маленькой кривой избушке, пахнувшей Карегой. В избушке жили бабка с внучкой Нинкой, мать которой давно уехала невесть куда. Нинка сразу стала умолять нас остаться, обещая все-все для нас делать. Было восхитительно жарко. Нас немедленно стали кормить горячими черными пирогами с картошкой, которые надо было съесть все, поскольку они без дрожжей и сразу зачерствеют. Электричества не было, но горела яркая многолинейная керосиновая лампа. В горнице было еще жарче, железная печурка была раскалена докрасна. На ней стоял чайник с вкусной колодезной водой. Имелась мебель и, главное, огромная кровать вся в подушках и одеялах. Я сказала, что никуда отсюда не уйду, разделась до белья и завалилась на кровать. Алечка с Нинкой пошли за вещами, а я попросилась в туалет. Туалета не было в природе, отправления

совершались прямо на пол в сарае со свиньей и курами, где тут же замерзали. Усесться для этого дела было негде, а как справляться с животом и шубой? Когда вернулись Нинка с Алькой, в комнате уже было прохладно, Нинка подбросила дров и побежала решать мои туалетные проблемы. Она вернулась со старым стулом и деревенской работы стульчаком и приспособила их в сарае, а в комнату принесла ночной горшок в виде ведра. Стали рядиться. Бабка просила платить за керосин, дрова и картошку и позаниматься с Нинкой, а за квартиру необязательно, они нам и так рады. Наконец-то мы были счастливы.

Утром бедный Алечка по темноте и морозу пошел на работу, так как его, не отработавшего срок наказания, отпустили только на два дня, а я вскоре проснулась от того, что у меня замерз нос. Я подошла к печурке и обнаружила, что вода в чайнике замерзла. Прибежала Нинка, отправила меня в постель, и через десять минут в комнате было тепло. В общем, если все время топить, жить было можно.

С едой тоже было непросто. У нас были кое-какие припасы, но до магазина добраться мог только Алек после работы, когда в них оставались лишь знаменитые экспортные крабы СНАТКА и шампанское. И каждый вечер в час назначенный мы ели салат из крабов, картошки и бабкиных соленых огурцов. Хлеба обычно не было. Днем приходилось через мороз и ветер ходить за два километра обедать в заводскую столовую, где тоже преобладали крабы (например: «Макароны по-флотски с крабами»). Там мне довелось услышать: «Я солдат, ненавижу Гитлера, мне все равны, но с евреями он был прррав». Я вскочила и рванулась в бой, но Алечка меня усадил, сказав: «Да он и евреев, небось, в своем Рошале не видел, я здесь один и никому не интересен. Зато газеты читает». Бабка с Нинкой варили картошку и пустые кислые щи, привезенная из Ленинграда икра их не заинтересовала. Нинка призналась, что ничего на свете нет вкуснее белой булки с маслом, но в магазинах таких деликатесов не было.

Почти каждый вечер к нам ходила местная интеллигенция с шампанским и консервированными ананасами («ананасы в

шампанском» – привет, Игорь Северянин!) Лохматый Лампезов был поэтом. Он был после Московского Университета распределен в Рошаль преподавать литературу. У нас он все время читал свои и чужие стихи. Антипов был с Урала и преподавал, кажется, физику. Он был в прямом смысле энциклопедист и каждый день сообщал нам разнообразные сведения на какую-нибудь другую букву, например «Неон – инертный газ с атомным весом...; Носорог – крупное млекопитающее..., Никитенко – цензор, живший в XIX веке и т.д.» В общем, как говорила одна дяди Шурина шизофреничка, «мы жили хорошочко, культурночко».

До смерти Сталина оставался один месяц.

В течение многих лет мы задавались вопросом, за что Алечку сослали в такую глушь и на такую должность, да еще за небольшое опоздание к началу работы отдали под суд. Супругов все же не полагалось разлучать. Его начальник на заводе только головой качал: «За что тебя, Сашка, что ты там натворил? Характеристика у тебя отличная. Тебе доцентом надо бы быть, а ты здесь пропадаешь». Конечно, Алек еврей, но евреев на его курсе было не так мало. В 1947 году, когда он поступал, золотые медалисты проходили вне конкурса, да и вообще еще соблюдались какие-то приличия. Но с Алеком обошлись особенно жестоко... И вот через много лет, в «вегетарианские» времена, когда я пришла работать в Университет, мой друг и коллега И.Б. предложил свою версию этой истории.

Был в Университете хорошо известный субъект Сергей Катькало. Он прошел войну, поработал где-то в органах – не то милиции, не то ГБ – и пошел, как это принято у них, учиться на юридический. С ним на курсе учился мой школьный «хахаль» О.С. Отношения у них были плохие – О. был красив, остер на язык, а Катькало не прощал такого в свой адрес. Я была знакома с Катькало шапочко по какой-то спортивной секции. В то время я училась на химическом и была редактором студенческой газеты «Катализатор». У нас была хорошая команда, и газета была смешная и популярная. Критиковали мы, в основном, студентов и снабженцев. И вдруг меня вызывают на

ковер к самому Катькало, который уже успел стать секретарем комсомола Университета, по поводу этой самой газеты. Что случилось? Почему к самому Катькало, а не к факультетскому секретарю? И вот я сижу в Ректорском доме, в котором родился и вырос Блок, в просторном кабинете Катькало. На меня в упор смотрит серое свиное рыло, только глазки сверкают. Начинает резко, а потом и вовсе переходит на крик и орет долго и злобно. Но из криминальных претензий вырисовываются две: во-первых, газета называется «Катализатор», тогда как у людей приняты названия «Советский физик», «Советский филолог» и т.п. Это непростительный выпендрей. Во-вторых, газета больше чем у всех по площади, и это тоже выпендрей. Я пытаюсь возражать, но тут он и вовсе срывается на угрозы. Оторавшись, он вдруг стихает и говорит: «Идите и учтите». Я мямлю: «Нам сократить площади и переделать название?» – «Пока не надо», – вяло говорит он. Наша газетная команда так и не поняла, что он от меня хотел.

Примерно в тоже время на юридическом факультете пошла комсомольская охота на О.С. Ему шили аморалку: он-де пьет, гуляет с девушками, а, главное, играет в карты на деньги. Нечего и говорить, что все это можно было отнести к большинству студентов. Почти все мои друзья устраивали вечеринки с выпивкой и играли в преферанс, разумеется, на деньги. Юридический же, как и журналистский факультеты и вовсе был заполнены бывалыми ребятами, повидавшими фронт и блокаду. Там процветала спекуляция, пьянство и потасовки. О. не калялся, вел себя независимо и был изгнан из комсомола и Университета. Никто не сомневался, что ему мстил его недруг Катькало, только неизвестно за что.

Когда я в 1967 году оформлялась на работу в Университет, И.Б. сопровождал меня по разбросанным чиновничьим кабинетам. Пришло время представиться проректору по кадрам, которым уже много лет был Катькало. Я рассказала И.Б. об упомянутых историях, и мы опасались, что Катькало меня не пропустит. Впрочем, была надежда, что не вспомнит. Катькало вышел из кабинета, и И.Б. стал меня представлять. Серое лицо

изменилось и сверкнуло глазами. Катькало без здарсьте и до свиданья стоя подписал бумагу и молча ушел в кабинет. «Он узнал тебя», – сказал И.Б. – «Это уж точно». Мы шли по Университетскому двору, и каждый обдумывал этот странный эпизод. Вдруг И.Б. сказал: «Я понял, Шейнина. Он давно питает к тебе непозволительную и безнадежную страсть». – «С чего ты взял?» – «Да он же позеленел весь. Потому и решил тогда уничтожить обоих твоих мужиков. Одного изгнал, а тут, глядишь, и другой появился. Давай и его сошлем подальше». – «Что-то чересчур хитро. Ну, сослал, а дальше что? Он и не пытался ко мне подкатиться старым добрым способом». – «Как ты себе это представляешь – приходит он в шахматный клуб, дым коромыслом, ты сидишь нога на ногу, куришь сигарету и двигаешь фишки. И тут он подходит и приглашает тебя в театр или на лыжную прогулку. Он негодяй, Шейнина, но отнюдь не дурак, и смешным быть не любит». – «Не будет же государственная комиссия плясать под дудку какого-то комсомольского вожака!» – «Но под дудку чина ГБ спляшет как миленькая». Дома мы обсудили эту версию, отнеслись к ней довольно скептически и вскоре забыли. Но теперь, когда через десятилетия я выкопала ее из памяти на свет Божий, я подумала, что, возможно, нет дыма без огня...

Я вернулась из Рошаля в Ленинград. Атмосфера была злобной. Над страной висело дело врачей-отравителей. Фамилии у них были сплошь без суффиксов – Вовси, Этингер, Коган и тому подобные. Народ стоял у газет и под громкоговорителями и осуждал евреев, евреев, евреев. Даже малозаметных врачей-евреев выгоняли из поликлиник и неотложек. Раскрывали псевдонимы у авторов публикаций, вытаскивали на свет забытые еврейские имена и отчества. Ходили слухи, что всех евреев сошлют в Биробиджан, как в недалеком прошлом сослали чечен и крымских татар. В еврейских кругах только об этом и говорили. Мнения были разные. Многие (и мама в том числе) считали, что преступные врачи получают свое, но вот другие евреи – честные советские люди – страдают несправедливо. Дядя Шура выходил из себя и обзывал всех баранами,

семейство Шейниных и их преферансная компания не сомневались, что дело врачей состряпано и в стране грядут новые разоблачения и казни. Но обсуждать это было у них не принято, чтобы не ставить в ложное положение партийных друзей. Один из моих близких друзей сказал, что он не верит в виновность врачей, но верит своей партии и не желает в ней сомневаться. Он был, разумеется, беспартийным евреем. Я и сама была достаточно примерной комсомолкой и считала, что дело состряпано Маленковым и Берия, а Отец народов ничего не знает, как не знал и в 37 году. Известно ведь, что тогда все устроил Ежов.

Я училась на 5 курсе, и двух моих подруг по кафедре с фамилиями Гуревич и Меерович и характерной внешностью (Римма Меерович была настоящей библейской красавицей) стали разбирать на части за злостное искажение на зачете новой работы Сталина о языкознании. Это было так нелепо, что поддержки не встретило ни у студентов, ни у преподавателей. Парторг кафедры, милейший профессор Ефремов, пришел в ярость, когда мы пришли к нему делегацией и просили заступиться. Он немедленно отправился действовать, и «дело» прекратили. А затеяли его аспиранты-юристы, присутствовавшие на злосчастном зачете как практиканты, за что и получили взыскание по известному цыганскому принципу: «воруй, но не попадайся».

И вдруг Бессмертный заболел. Я не очень беспокоилась. Заболел, так вылечат. Умер-шмумер – вот он идет. Появились всему миру известные бюллетени о состоянии здоровья Вождя, чего раньше не бывало. В них были непонятные сопорозное состояние и дыхание Чейна-Стокса. Страна тоже замерла в сопорозном состоянии и дышала, похоже, по Чейну-Стоксу. Мы ведь всегда следовали за ним. И вот на второй день Чейна-Стокса еду я по Невскому на семерке автобусе и вижу на Куйбышевском райкоме висит во всю стену Сталин в черной рамке. Не веря глазам, я спросила у пассажиров, что случилось. Подозрительные взгляды и молчание. И я зарыдала. На меня смотрели и молчали.

Приехавши на химфак, я потащила свой живот на самый верх в лабораторию, где делала дипломную работу. По лестнице резво сбегал упоминавшийся профессор Ефремов, человек немолодой и степенный. Завидев меня, он остановился и сказал: «Галя, вот хорошо, что я вас встретил. Нам надо написать выпускные характеристики. Вы уж напишите на вашу группу, а я подпишу». Боже, что он несет! Какие характеристики? Я смотрела на него и не могла сдержать слез. «Что с вами?» Поняв, наконец, что со мной, он по-отечески привлек меня на плечо и, поглаживая по спине, проговорил не своим голосом: «Милая, успокойтесь. Все мы, конечно, скорбим, но подумайте о вашем ребенке. Это ему вредно». Я потащилась наверх. Мне почудилось, что он давился от смеха.

В лаборатории под «юбкой» спектропроектора сидела моя ближайшая подруга Сонечка Шенкман (ныне Яковлева). Я присоединилась к ней пространственно и эмоционально. В коридоре послышалось веселое хихиканье, и вошли два друга – наш руководитель Модя (Модест Модестович Клер) и большой остряк рентгенограф Пал Палыч Соколов. Мы их любили, они тоже нас выделяли. Увидев наши расстроенные лица, они еще больше захихикали и стали разговаривать театральным шепотом, иногда одергивая друг друга: «Тихо ты, девочки расстроятся». Потом Пал Палыч подошел ко мне и спросил: «Галя, вы готовите соски к кормлению? Имейте в виду, соски надо каждый день мыть холодной водой и растирать жестким полотенцем». Мало того, что эта тема по тем временам была табу, так он еще и время выбрал! Увидев мое шокированное лицо, он похлопал меня и сказал: «Не горюйте. Вот увидите, все будет хорошо!»

Я плохо помню, как в первые дни реагировали близкие. Алек был в Рошале, с отцом я перестала встречаться. Все были потеряны и напуганы. Боялись, что власть перейдет к Маленкову и Берии, и будет хуже. А евреев наверняка вышлют. Сталина еще не похоронили, а наши вожди уже поторопились сообщить нам новое распределение власти. Такую оперативность они объясняли необходимостью предотвратить враждебные

вылазки в столь трудные для народа дни. И опять люди собирались у газет и под уличным радио и бурно спорили, кто во что горазд.

Народ еще не зализал раны после новой Ходынки на похоронах Вождя, как ему снова дали под дых. Оказывается, врачи невиновны! Их оклеветала скромный врач кремлевской больницы Лидия Тимашук, а следственные органы вели дело незаконными методами. А теперь товарищ Берия все разоблачил и будет наводить социалистическую законность. Отдавай, сука, обратно орден Ленина, а вы, враги народа, пожалте в застенки родного НКВД. А чего ж врачи-то все подписали? Да признания же выбили под пытками. Ах, эти евреи, и пыток-то выдержат не могут. И гляди-ка, опять выпутались! А может, это они Сталина-то? Ведь не всех же разоблачили. Да вы что, люди, мало вам 37-го года и Ленинградского дела? А что было в 37-м году? А, вы про это, так то ж были враги народа. Тоже под пытками? Да что вы все пытки да пытки. Трупы плыли от Большого дома? Нет на вас Хозяина, сами бы поплыли куда надо.

Именно тогда зародился советский неподцензурный фольклор. Например, такая песенка:

Дорогой профессор Вовси,
За тебя я рад,
Оказалось, что вовсе
Ты не виноват.
Дорогой профессор Коган,
Как ты поседел!
Как я счастлив, как растроган –
Снова ты у дел.
Сколько вы перестрадали,
Доктора наук,
Из-за этой из-за твари
Лидки Тимашук.

Вот так у скорбящего народа враз развязались языки. А когда и сам Берия оказался врагом и главным нарушителем закон-

ности, раскрепощенные народы дошли до того, что открыто распевали:

Лаврентий Палыч Берия
Не оправдал доверия
И вот он в заключении
Шагами землю меряет.
Цветет на юге алыча
Не для Лаврентий Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча.

Какие, однако, стихи! О, великий и могучий русский язык!

С фантастической скоростью внедрялось новое политическое мышление. Осуждался культ личности. Чьей личности, не уточнялось. На всякий случай. Во всем был виноват агент английской разведки Берия с прихлебателями. Но публика быстро поняла, что бочку-то катят на Сталина. Кто ликовал, кто застыл в недоумении (мама, например), а кто возмущался и призывал на головы предателей кары небесные. Я и мои друзья-комсомольцы как-то быстро оказались в первой группе. Возмездие последовало незамедлительно. В апреле у нас на курсе было распределение, такое же демонстративно хамское, как и в прошлом году. Отличника Зака сослали в Темиртау, известного талантами и общественной деятельностью Юру Варшавского и его жену Эльвину с годовалой дочкой пожалели и направили учителями в Ригу, я со своим пузом осталась в Ленинграде на судостроительном заводе. Зато известную хвостистку, вечно лишаемую стипендии Вальку Абросенкову, определили в Москву в аспирантуру. Валька была веселая девчонка и от души хохотала, от аспирантуры отмоталась и получила свободное распределение. Но мы, глотнув свободы, восстали: орали на комиссию, качали права по инстанциям и в результате получили одинаковые приписки в составленные мной характеристики (помню их дословно): «Чувство общественного долга выражено слабо, что выразилось в защите шкурнических интересов

некоторых студентов при распределении». При трудоустройстве (моем, например) это сыграло свою роль.

30 мая я родила Диму. Рожала я без Алечки, его отпустили на несколько дней лишь в конце июня. Окончательно он вернулся в марте 55-го, когда после долгих хлопот с него сняли судимость.

Эти полтора года были годами наибольшей нашей с мамой близости. Даже Соня отошла на второй план. Вокруг Димочки, как планеты вокруг солнца, вращались женщины нашей квартиры – баба Рая, мы с мамой, а также Тита и Дуня, Бороина няня. После ухода отца мама остро хотела быть нужной, а наш голубоглазый красавец с кудрявой белой головкой это всем нам обеспечивал. У него было много ласковых прозвищ, а мама называла его светленьким за улыбку, которая освещала его лицо при виде близких. Вообще-то он был ласковым ребенком, хотя и капризулей и букой, и его любили все родственники и друзья. Но вскоре мама решила, что она нужнее Соне, и это была правда. Чтобы заработать хорошую пенсию, дядя Шура отправился на два года заведовать кафедрой в Самарканд, а тетка осталась в Ленинграде. Мама работала и моталась на два дома, несмотря на усталость, чувствовала себя если не счастливой, то удовлетворенной. Она была везде нужна!

Когда я увидела вернувшегося дядю Шуру, я поняла, что он скоро умрет. Он сильно похудел, уменьшился, посерел, его мощный затылок стал тонким и складчатым. Тетка находилась на лечении в психоневрологии, и я осторожно поделилась своими наблюдениями с Наташкой. В ответ я услышала: «Ай, у него всю жизнь живот болит!» Когда близкий друг семьи и семейный врач Милочка сказала ей, что отцу необходимы уход и обследование, она возразила: «Сейчас все внимание маме, ей будут делать электрошок. А у папы все и так пройдет». Однако через какое-то время Милочка вырезала у дяди Шуры шишку, оказавшуюся метастазом. Она сказала об этом маме, мне и Алеку, и мы, предвидя натальину реакцию, просили Милочку не сообщать ей, чтобы побережь дядю Шуру. Милочка положила дядю Шуру на соматическое отделение в Бехтеревку,

где все знали его и где она работала хирургом-консультантом. В родной Бехтеревке дядя занялся своими любимыми шизофрениками, и к нему на консультацию стояли очереди. Он все худел и желтел и был слишком хорошим врачом и слишком умным человеком, чтобы верить лукавым ответам врачей. И он перестал спрашивать. Из близких его посещали, в основном, Алечка и я. Милочка, боясь расспросов, только забежала, а Наташка и мама чередовались у тети Сони в другом отделении Бехтеревки. Тетка боялась остаться одна, поэтому их визиты к Шуру были редки и кратковременны. Сама Соня ни разу его не навестила.

Дядя Шура старался облегчить нам общение и не говорил о болезни. На вопросы о самочувствии он отвечал коротко «Брюхо не варит». Нам он был рад, со мной охотно обсуждал общие вопросы – новости, книги, шизофреников, крохотного мальчика гидроцефала; с Алеком больше говорили «за жизнь». Они очень сблизились, и каждый раз при прощании дядя Шура говорил: «Завтра придешь? Мне с тобой хорошо». Он никогда ни у кого не спрашивал о тете Соне, Наташка жаловалась, что рассказы о ней он встречал молчанием. Мне казалось и продолжает казаться, что смертельная болезнь освободила его от теткиных чар и по-своему расставила приоритеты. Когда он совсем слег, он попросился домой, сказав без всякой патетики: «Хочется немного дома пожить». Милочка пришла к Наташке и все ей, наконец, выложила. Наталья закричала: «Милочка, как вы могли так поступить?» – «Как?» – «Зачем вы мне рассказали!» Мягкая Милочка гневно сказала: «А в морду не хочешь?» и ушла. Алек предупредил Наталью, что если она заткнет истерику при отце или матери, он перевезет ее на Дегтярную и обратно не пустит. Когда Соня вернулась домой, она отреагировала на сообщение с мрачным спокойствием, сказав, что давно все знает. Она тоже была хорошим врачом, и ума ей было не занимать.

Алек переехал к дяде Шуру в квартиру, спал у него в комнате. Днем там дежурила медсестра. Остальных дядя Шура практически не допускал. Мама тоже там жила, Соня ее не

отпускала. Если все же кто-то из них заходил, он ни словом не поддерживал разговора. С Алеком же он разговаривал до самой смерти. Последнее, что он сказал, было: «Алек, я умираю. Поцелуй меня». Сестра спросила: «Позвать ваших?» Он сказал: «Нет».

Он запомнился мне в Шувалове, сидящем на покатам склоне кладбища и наизусть читающим Блока:

Над озером скрипят уключины
И раздается женский визг...

Там он и похоронен. Ни Соня, ни Наташа ни разу его там не навестили; Не только посещения могилы, но и упоминания о дяде Шура были табу – слишком тяжело для любящих душ. По этой же причине Наталья грубо не допустила учеников к дяди Шуриным рукописям и архивам, а его книжный шкаф заперла на ключ. Соня похоронена с ним в одной ограде на буйно-зеленом кладбище прямо над Шуваловским озером. В ее же могиле захоронена наташина урна. Соня умерла 15 лет спустя ужасной смертью. Страдая сердечно-легочной недостаточностью, она не допускала врачей, боясь заразы. Лечила ее хирург и замечательный врач все та же Милочка Марлей. Милочка и настояла на госпитализации, так как дома помощь была уже невозможна. Поместили ее на Пряжку в психиатрическую клинику на соматическое отделение. Находиться при ней запрещалось. На следующий день Натка прибежала к нам в панике и рассказала следующее: еще направляясь к палате, Натка услышала отчаянный крик: «Хлеба!» Зная, что Соне нельзя быть голодной из-за развившегося в последние годы диабета, Наташка бросилась за хлебом и накормила уже полуобморочную мать, привязанную к кровати, а потом устроила скандал. В ответ она услышала, что в истории болезни ничего про диабет не сказано, а слушать всяких сумасшедших они не обязаны. А если Наталья не прекратит орать, то они вызовут санитаров и наденут на нее смиренную рубашку. Соня умоляла забрать ее домой и говорила, что ее здесь бьют. Я позвонила Милочке, и та сказала,

что это реактивное состояние, галлюцинации, но голос ее не звучал убедительно. Еще через день Милочка позвонила мне и прокричала в слезах: «Софья Абрамовна умерла ночью в состоянии острого психоза!» В морге ее долго приводили в порядок под руководством Милочки и выдали ее нам набеленную и нарумяненную. Но синяки все равно проступали, и Милочка сказала, что Соня упала с кровати.

Я уже писала, что дядя Шура был неординарным человеком. Он знал себе цену, хотел заведовать кафедрой, иметь учеников, потому и прожил послевоенные годы большей частью в Ставрополе и Самарканде. А может быть и не только поэтому. Он родился в Екатеринославле в традиционной еврейской семье, но получил, как и папа, блестящее светское образование – гимназия с несколькими языками и университет. Политикой он не занимался, хотя всегда был прекрасно информирован, и голова его была чиста от марксистской мути. До войны к нему изредка приезжал отец, дедушка Захар, носивший в комнате черное пальто, которое называлось лапсердак, и ермолку. Он сидел возле печки и читал книги на древнееврейском языке. Летом он читал допоздна в загаженном ленинградском дворе среди дровяных сараев, вдыхая белую ночь и вонь заводов с соседнего Обводного канала. Тетя Соня бесновалась, громко проклиная якобы грязные дедушкины пейсы, бороду и лапсердак, а заодно и мракобесие. Она разговаривала с ним грубо, спрашивая: «И чего вам в вашем украинском саду не сидится?» Дядя Шура умоляюще говорил «Сонечка!», а дед невозмутимо молчал.

Из каких кладовых памяти вытащила я дедушку Захара? Я помню его белые руки с чистыми длинными ногтями, красивый бархатный мешок с талесом и филактериями, которые он, молясь, надевал, но не помню его лица. Поздними вечерами, когда я ночевала у Натки, и мы уже лежали, они с дядей Шурой уходили на кухню и подолгу разговаривали, а тетка громко ворчала. Но главные дискуссии с криками и ссорами происходили после его отъезда. Тетка называла его темным, местечковым и необразованным, удивлялась, как у него мог получиться

такой интеллигентный сын, смеялась над его русским, а дядя Шура кричал, что дед – «хoxем», что он прочитал в своей жизни больше, чем все мы вместе взятые, что он говорит, читает и пишет на четырех языках (имелись в виду иврит, идиш, украинский и русский), а Соня, мол, ни одного, кроме русского, не знает, что он, Шура, всем ему в жизни обязан. Сходились, впрочем, в одном: Бога нет и не будет. Для полной ясности Натка плевала в потолок и издевалась: «Боженька, накажи меня, если ты есть», дядя Шура обзывал ее дурой, а тетка, явно испуганная, кричала «Замолчи!». Что говорить, Бога, конечно, нет, но береженого Бог бережет. Дед Захар исчез во время немецкой оккупации, но дядя Шура ни о чем не дознавался, не без основания полагая, что даже это опасно, – а вдруг, лишившись опеки НКВД, дед был завербован немцами в шпионы прямо в лапсердаке. Родственники в оккупации – это серьезно.

После смерти дяди Шуры в 57-м году и рождения «дорогой детуленьки» Мариночки мама окончательно переселилась к тете Соне. Ее с почетом отправили на пенсию, что было для нее еще одной травмой. У нас стало совсем тесно, и мама «поменялась» с Алеком, переехав в его комнату на Поварском у Шейниных. Она перевезла туда какую-то мебель и вещи, но совсем там не жила – комната предоставлялась Наталье для «личной жизни». Тетка хужела, боялась оставаться одна, часто вызывались помощники, но Наталью трогать не полагалось, обе сестры оберегали ее свободу и право на личную жизнь. Мама из кожи вон лезла, чтобы быть полезной Соне, но силы уже были не те. Моя красивая и нарядная мама очень изменилась, перестала следить за собой – папы не было рядом, а Соня этого не одобряла – ходила в каких-то немыслимых тряпичных ботах, так как у нее отекали ноги. Она даже умудрилась не заметить, что на одном глазу у нее образовалась плотная катаракта, видная простым глазом. Я стала проверять ей зрение, показывая пальцы. Она подолгу вглядывалась, но ни разу не сказала правильно. Я сказала, что все неплохо, но надо к врачу, и тут же вышла отреветься. Как-то мама пришла с сеткой дефицитных апельсинов, за которыми долго стояла на холоду.

Бабка радостно схватила сетку, но мама запротестовала: «Рая, не троньте, это же Соне». Бабка в сердцах швырнула ей сетку и произнесла: «Да подавись она этими апельсинами! А вы хороша бабушка!» Когда я поняла, что мама плоха физически и морально, я посоветовалась с Милочкой, и мы уговорили маму уехать к друзьям на Кавказ в первый за эти годы «отпуск». В октябре 66-го я встречала маму в аэропорту. Она спускалась по трапу, землистая и нетвердая в ногах. Я думала, что ее укачало, но она вся горела и хрипела. Тетка в это время лежала в привилегированной неврологической больнице санаторного типа, и мама рвалась взять такси и поехать к ней из аэропорта, но я ей не дала, что не помешало ей назавтра поехать к сестре с южными фруктами. Как же я не поняла, что это не простуда, а пневмония, и что мама в бреду! Не прошло и месяца, как маму свалил тяжелый инфаркт. Врачи оставляли нам мало надежды, но мама справилась и готовилась к выписке, когда произошел отек легкого (крайняя форма острой сердечной недостаточности), и мама еще долго была в тяжелом состоянии. Перед выпиской ее предупредили, что ей нужен полупостельный режим без физических нагрузок, и даже подъем по лестнице ей опасен. Вечером, накануне выписки, мама позвонила мне и, задыхаясь и плача, сообщила, что Соня возражает против ее возвращения в их квартиру, так как больная она не нужна – ни она помочь не сможет, ни ей помочь некому. Пусть едет на Дегтярную или на Поварской. Мама долго ее уговаривала, обещала, что все будет делать, плевать, мол, ей на врачей. Но тетка была не из тех, кого можно было переубедить или уговорить, это не удавалось даже Натке. Да и по существу ей нельзя отказать в логике. Я попыталась утешить маму, говоря, что мы все устроим, что так будет даже лучше, но мама повторяла: «Я хочу домой, меня нельзя выкинуть, как ненужную тряпку!» На следующее утро 4 февраля в возрасте 65 лет она умерла от второго отека легких. Первый отек тоже был перед предполагаемой выпиской.

ПАПИН АРЕСТ (2)

«Маршовы несчастливые», – говорила бабушка. У мамы была одна черта, жить с которой было трудно. Это была не просто преданность, а отчаянная преданность, настоящее служение, в первую очередь, папе и сестре. Пятнадцать лет прожила она без папы, но не забывала его предательство ни на минуту, разошлась со всеми, кто встречался с ним, и при упоминании его вся чернела. Не знаю, может быть, после ухода отца эта ее самоотдача перенеслась бы на мою семью, ведь она нас любила не меньше, чем Соню. Может быть, тогда бы не возник этот губительный для нее симбиоз. Но я не давалась ей с самого детства, всей кожей чувствуя несовместимость ее служения с моей независимостью. Даже малые дела мама делала больше чем на совесть. Я помню ее в Самарканде, конспектирующей при свете коптилки «источники», то есть труды классиков марксизма, помню, что даже после 20-го съезда она так и не привыкла к царившему в обществе «огульному охаиванию» недавнего прошлого.

В значительной степени ее неотступное рвение и папина принципиальность и твердость привели к его освобождению и реабилитации в 1940 году.

Раньше я описывала детские воспоминания о папиной «секретной командировке» (см. «Папин арест 1»). Теперь же попробую писать о том, о чем узнала взрослой из рассказов родителей и близких. Трудность в том, что мы с братом Борей ничего из этих рассказов не записывали, да и никто не записывал, так как папа уверял нас, что напишет сам, и собирался наговорить на магнитофон. Но после его смерти не нашлось не только рукописных или магнитофонных записей, но и черновиков. С момента возвращения папы из тюрьмы до, я думаю, 47-го года я ничего об этом периоде папиной жизни не слышала. И вот как-то у Розенбергов под Ставрополем «на психу», где они проводили лето, я услышала от Сони: «Когда Адольф был в тюрьме...» – «Он не был в тюрьме, вы что, с ума сошли?» – закричала я в слезах, чувствуя, что сейчас раскроется очеред-

ная страшная тайна. «Боже, – сказала тетка, хватаясь за голову, – Неужели они ей не сказали? Но почему? Она уже взрослая». И больше я ничего из нее не вытянула, но стоило нам удалиться от дома, как Наталья мне все и выложила. Как я могла не догадаться сама! Ведь я знала об арестах 37-го года, о судьбе Мули Рабиновича и многих других, а для меня папа все еще оставался героем секретной командировки. Он-таки был героем, но совсем другой драмы. В то лето я многое узнала от Розенбергов... Вернувшись в Ленинград, я чувствовала себя обиженной, ведь Натка знала, ей доверяли, а я? Верите ли, я и сейчас этим обижена. И я решила не спрашивать, даже у бабы Раи. Где-то через пару лет родители торжественно пришли ко мне и сказали, что хотят рассказать мне очень важную вещь. Ты, мол, взрослая, ты поймешь. Я и вправду поняла и мрачно сказала: «Если про папин арест, то я и так знаю». Родители так и сели. Папа огорченно сказал: «А я так ждал этого момента! Думал, вот дочка вырастет...» Мама добавила: «Он так готовился, подбирал слова!» «Вы, кажется, на меня обижены?» – прошипела я и ушла. После этого мы не скоро вернулись к этому сюжету.

Про сам арест мне рассказывали трое – родители и Рая, взятая вместе с дворником в понятые. На ночной звонок, который был вполне ожидаем, выскочила вся квартира. Вошли трое, вытерли ноги, родственников отправили по комнатам, предъявили ордер на обыск, тихо задали необходимые вопросы, попросили не шуметь, чтобы не разбудить ребенка, и начали все разбирать. Ни тебе ствола в бок, ни ногой в дверь, все культурно. Обыск длился почти всю ночь, вещи описывали, аккуратно складывали и клали на место. Перед тем как увести папу, сказали: «Попрощайтесь с женой и дочкой» – и отвернулись. Ни мама, ни Рая не плакали. История эта меня удивила, я уже знала о погромах, грубых криках и выкручивании рук; папа объяснял приличное обращение с ним тем, что дело велось Военно-морской прокуратурой, а в военном флоте еще с царских времен сохранялся какой-никакой кодекс чести. (Вспоминая неформальные, без оглядки на чины и социальное положение отношения среди сотрудников Академии, с их рукопожатиями

даже в официальной обстановке, с их капустниками и шумными экскурсиями, я склонна этому верить.)

Передо мною документ из пожелтевшей бумаги под названием АКТ, помеченный 14.02.39 г., смысл которого непонятен. Согласно предписанию УНКВД в присутствии мамы и понятых (Раи и неграмотного дворника) *«произведена опись имущества, подлежащего (пропущено), ранее принадлежащего (зачеркнуто) арестованному Равдель Адольф Аркадь»*.

ВЕЩИ

.....

7 – Фурашка сук. черная – две

14 – Стол письмен. – с ношками – один» и т. п.

Чему подлежащего? Конфискации? Так ее не было. Вот уж и впрямь трагедия оборачивается фарсом!

Папа отбывал заключение в трех тюрьмах: на Шпалерке («Большой дом», один из лучших образцов советского конструктивизма), в «Крестах» – крестообразной царской тюрьме, памятнике архитектуры XVIII века, типичного для того времени функционального здания красного кирпича, – и в Кронштадте. Последнее заведение я увидела, думаю, в 80-ых, когда после строительства дамбы Военно-морскую крепость, верфь и порт открыли для посещений. Про последние две тюрьмы папа пел красивую песню:

Как дело измены, как совесть тирана
Осенняя ночь черна;
Черней этой ночи встает из тумана
Видением страшным тюрьма.
Кругом часовые шагают лениво.
В ночной тишине то и знай,
Как стон мертвеца, раздается тоскливо:
– Слушай!
– Слушай!

Содержание было лучшим на Шпалерке – папа с друзьями по нарам аж сделали из хлеба шахматы: белые фигуры пере-

жевывались с зубным порошком, черные с сажей из бумаги. Много лет спустя где-то в отпуске в кавказской деревне папа показал свое умение и слепил нам такие же шахматы. И сейчас в Борином владении есть набор фигур, слепленных и красиво раскрашенных папой и Борей. Обращение тюремного персонала тоже было приличным: наши враги народа устраивали лекции на разнообразные темы, которые любили слушать «цирики». Если мимо кто-то проходил, они кричали: «Разговорчики!», и лектора замолкали. Среди интеллигентных сокамерников попался один «политический» из простых. Он сидел за анекдот и благодарил Бога, пославшего ему такую милость – мол, где бы и когда бы он встретил таких людей и узнал столько интересного.

Но стоило перейти из тюрьмы в сам Большой дом, где проводилось следствие, как все менялось. «Выдергивание» по ночам, длительные стоячие ночные допросы под крики и угрозы физической расправы, имеющие главной целью получить признание, угрозы семье, шантаж – далеко не полный набор их действий. Больше всего мне запомнились два эпизода. Следователь, подогрев себя криком, запустил в папу тяжелым пресс-папье, которое попортило стенку у самой папиной головы. Папа сказал следователю, что откажется от дачи показаний, следователь насмешливо спросил: «Ну и к кому же ты пойдешь?» Папа попросил его называть, как и прежде, на вы и пообещал при повторении такого обращения просто молчать. Это сработало. Впрочем, папа считал, что попасть в него и не входило в намерения НКВДэшника. Папе вообще помогала воля к сохранению способности логически и психологически анализировать самые трудные ситуации. Уже много лет спустя среди студентов Технологички, где отец работал, с легкой руки Вени Иофе ходила байка, что Равделя, мол, в тюрьме не били, потому что ни один человек не способен его ударить. Личность у него такая. Когда я рассказала об этом папе, он посмеялся: «Личный фактор играл, конечно, роль, но главное – приказу не было. И мне удавалось по их поведению видеть это хотя бы на 80 процентов, что помогало справляться со страхом и

контролировать себя». В предельной форме это проявилось во время процедуры ложного расстрела (не помню, в какой тюрьме). Вынуждая подписать признание, его повели в подвал под дулами пистолетов «кончать». Несмотря на уверенность, что это все сатанинские игры, папа боролся с паническим страхом, но подписывать отказался. Ему продолжали угрожать оружием и обещали расстрел, но чем дальше, тем больше папа успокаивался и одержал победу.

Я до сих пор не понимаю, зачем при всеобщем беззаконии им нужно было признание. Ну, Зиновьев другое дело, это можно было публично обыграть, а тут-то что? Пусть будет без признания. Ан нет, папа говорил, что Вышинский ввел в право два новшества: отменил ради классовых интересов презумпцию невиновности и сделал обязательным признание, которое было главным (а иногда и единственным) аргументом обвинения. Это требование плавно переходило в необходимость пыток. Впрочем, не исключалась и казнь без суда и следствия, но не по папиной статье. Кстати, по какой статье – я так и не знаю, я только знаю, что его обвиняли в попытке диверсии на Черноморском флоте и что, защищаясь, он попросил предъявить вещественное доказательство – орудие диверсии. На это судья сказал: «Смотрите, он и нас хочет тут взорвать!».

Непонятные щепетильности требовались и при вызове к заключенному прокурора. Сначала полагалось объявить голодовку (то же было и в царской тюрьме). Староста объявлял это тюремному начальству для соответствующей записи. Потом начиналась сухая голодовка. Здесь тоже действовали старинные тюремные законы. Голодающий освобождался от прогулок и от следственных действий. Староста отвечал за соблюдение правил, тюремные служащие его проверяли. На четвертый день голодающего начинали принудительно поить через зонд, на, кажется, десятый день – кормить тоже через зонд. Уж не знаю, что они там делали, но, по словам и папы, и Вени это была мучительная процедура. Наконец приходил прокурор. Для чего же папе потребовался прокурор, лучше всего понятно из маминого письма начальнику Ленинградского УВД от 5.07.39:

«...Прокурор ВМФ сообщил мне, что дело моего мужа закончено 29 июня и будет направлено в Москву в Особое совещание». (Это был страшный удар. Особое совещание было следующим кругом ада.) «...Дело на протяжении 22-х месяцев 4 раза направлялось в Военно-морской трибунал и возвращалось обратно вследствие отпадения ряда пунктов обвинения и неудовлетворительности следствия.

Мой муж не имеет протокола признания какой бы то ни было вины. Более того, пом. прокурора ВМФ в декабре 38 г. сказал мне, что мой муж сам хорошо защищается и в защите со стороны не нуждается. Это подтверждается тем, что он сумел на судебных заседаниях доказать свою невиновность в том или ином пункте обвинения и разоблачить отдельные клеветнические показания свидетеля. Лишение этого человека его естественного права защищать себя после того, как дело 4 раза было в суде, наводит на мысль, что до сих пор имеет место некоторая необъективность ведения следствия... Ввиду нынешнего направления дела к разбирательству внесудебным порядком (Особое совещание), прошу Вас... по крайней мере, направить его в суд, сохранив за мужем право на личную защиту».

Подобных маминых писем, в том числе Молотову и Ежову, у меня сохранилось пять.

По какому острию ножа, не растерявшись, не сфальшивив и сохранив при этом необходимые вербальные правила игры, приходилось ходить моим родителям, нынешнему молодому читателю, боюсь, не понять. Ибо Особое совещание было придумано для вынесения тяжелейших приговоров вне суда в отсутствие обвиняемого.

На каком этапе этих перипетий папа потребовал прокурора, я знать не могу. Знаю только ответ прокурора: «Эх, молодой человек, брали бы лучше свою десятку, чем на переследствии настаивать, а то зашлют ваше дело в такие инстанции и найдут такую статью, что головы лишитесь». Но десятку папа взять не мог. В те годы в тюрьмах шли дискуссии, что правильнее:

стоять до последнего и никому не подписывать признания или всем все подписать, обвинив в соучастии как можно больше людей. Вторая группа считала, что чем больше людей будет обвинено, тем скорее раскроется преступный план вредителей из НКВД. Папа и его единомышленники считали, что эта всеобщая сдача сыграет чекистам на руку, подтвердив теорию усиления классовой борьбы, провозглашенную Сталиным, и только усилит кровавый террор. Папа гордился тем, что ему удалось убедить своих сокамерников, а сознательных подписантов не осуждал, но считал слабыми людьми, погубившими многих невинных и теперь, хотя бы и подсознательно, придумывавших себе оправдания. Папа оказался прав не только морально, но и практически. Многим из тех, кому удалось пробарахтаться в предварительном заключении до «разоблачения» Ежова новым рыцарем без страха и упрека Л.П. Берией, удалось выйти на свободу с полной реабилитацией. Среди них был и папа.

Подписавших признание и получивших приговор из лагерей не возвращали. Их вина считалась доказанной.

Папа вышел из Кронштадтской тюрьмы в начале 40-го года вместе со своим подельником и другом А.А. Цукшвердтом. Только в городе из громкоговорителей и от людей они узнали о Финской войне и о смене власти в НКВД!

ВТОРОЙ ЗАХОД

Папа вышел из тюрьмы, полностью реабилитированный и даже с денежной компенсацией; родители поехали бесплатно отдыхать в лучший санаторий Крыма, купили новую оттоманку и все время принимали гостей. В то время в магазинах Москвы и Ленинграда, в отличие от провинции и села, было всего полно: копченая осетрина (Натка говорила, что белуга лучше), балыки, копченые языки, икры (какая лучше: зернистая или паюсная?), солености в бочках, пирожные и даже ананасы.

Счастливая Раекла приносила блюдо за блюдом – пирожки, ватрушки, налёванки, холодцы и заливные, потрясающую шуку, фаршированную судаком (или наоборот?). Во время пиров кричали: «Адольф! Адольф!», а потом «Раю! Раю!» Все плохое кончилось!

Но началась война, страшная, без конца и края, приносящая беды каждый день. Но и она кончилась одним прекрасным ярким днем. И люди обнимались, плакали и плясали на ленинградских площадях под духовой оркестр. И опять были гости, теперь еще и друзья по эвакуации, и пили разведенный спирт, приносили пайковый хлеб и ели воблу, оставшуюся еще с Астрахани.

Ходили разговоры, что теперь будет все иначе, что Сталин теперь увидел, какой у него замечательный народ. Однако, все знали, что продолжались жесточайшие репрессии за «военные» преступления. Не говоря уже об отказах идти в атаку, о сдаче в плен – за что был расстрел на месте без суда – под подозрение попадали побывавшие на оккупированных территориях, в окружении, в немецких концлагерях (почему остался жив? Предával? Сотрудничал?), русские немцы, целые народы, командиры, не выполнившие приказ, командиры, выполнившие приказ и т. д. В наших кругах репрессий вроде бы и не было, потому что мало кто из этих категорий в них вращался. Вопросы о принадлежности тебя или твоих близких родственников к этим категориям фигурировали в анкетах еще пару десятков лет. Впрочем, наш родственник, военный юрист Авксентьев, позволил себе публично сказать, что Троцкий был замечательный оратор, даже лучше Ленина, за что немедленно угодил в тюрьму и там сгинул. Уже в конце войны поползли известия, что евреи и калмыки тоже попали в опалу. Ну ладно, утешались некоторые евреи, калмыки – до них немцы доходили; мало ли что? Хотя, конечно, кто спорит, были целые полки героических калмыков-кавалеристов. А уж евреи-то причем? И так больше всех пострадали. Пострадали? «Евреев не убивало – все воротились живы». Но люди повидали за границу, подраспустили языки, и не успели замолкнуть фанфары, как

недреманное око взялось за дело. Музыка, театр, литература – во всем понимал Отец народов, а пророк его А.А. Жданов писал передовые и издавал судьбоносные постановления. Ахматова, Шостакович, Зощенко и не только они лишились возможности работать, а кто и жить, но время все-таки было другое, и их слава даже среди конформистской культурной части населения не потускнела.

Прокатилась по Ленинграду так называемая «попковщина» – дело ленинградских руководителей Попкова и Кузнецова. Их судили и расстреляли не за то, что вымерло от голода пол-Ленинграда, а как раз наоборот – за то, что лавры вождей города-героя они якобы пытались присвоить себе и даже создавали свой культ при помощи музея Оборона и блокады Ленинграда, Публичной библиотеки и даже Пушкинского Дома. Эти учреждения, конечно, сильно пошерстили, заметных сотрудников посажали, а музей Блокады разорили и надолго закрыли.

Об этих временах есть много исследований и воспоминаний; я лишь прочерчиваю пунктир, чтобы подойти к событиям в моей семье.

Началось выискивание ересей в науках. Завистливым злодеям в такие времена всегда воля и доля. Можно бежать впереди Хозяина и вгрызаться в людей по своему выбору, иногда и до смерти. Главным мерзавцем был академик-агроном Трофим Лысенко, разгромивший русскую биологию, погубивший Сергея Вавилова и на долгие годы объявивший генетику лженаукой. Этим, а не своим фантомным гибридом овса и овсюга прославился он на весь мир. И в других науках немедленно выскочили свои разного масштаба бесы. Кибернетика – тоже лженаука, принцип неопределенности – буржуазный идеализм... У нас в химии – механистическая теория резонанса. Химией и физикой в Ленинграде занялся некий «литератор» грузинский князь Львов. Он когда-то учился в Ленинградском университете с папиным братом Сашей, физиком так и не стал, а пописывал научно-популярные статейки, в том числе с критикой теории относительности и ее автора. И вот на химфаке создали

научную сессию, посвященную теории резонанса и ее адептам профессорам Волькенштейну, Домнину и автору известного учебника, фамилию которой я не помню. Дело происходило в Большой Химической аудитории, пришло много народу, студенты сидели по двое на стуле и все проходы были заполнены. Председательствовал известный химик член-корр. Академии Наук Стефан Николаевич Данилов из соседнего академического института. Это был полный пожилой человек с легким вологодским акцентом. На трибуне стоял князь с лицом обожженного Калиостро. Он сразу стал громить теорию резонанса и ленинградских профессоров, разлагающих с ее помощью студентов. Зал загудел. Председатель молчал. Кончив, Львов по-орлиному оглядел аудиторию, и слово получил известный физик и блестящий лектор Михаил Владимирович Волькенштейн. Он вышел к доске и не торопясь стал рисовать бензольные кольца и стрелки. Потом он спокойно и подробно стал объяснять, что резонанса в химических структурах никакого нет, а есть лишь наглядная аналогия, полезная для объяснения некоего механизма. Князь взвизывался, Волькенштейн отвечал, а Данилов добродушно кивал то в ту, то в другую сторону. Вытирая руки от мела, Волькенштейн сел на место под «продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию». После многих нейтральных и относительно доброжелательных выступлений слово взял Данилов. Он сказал, что дискуссия была полезной и поможет коллегам улучшить свои замечательные лекции. «Вы хотите что-нибудь добавить, товарищ Львов?» Это уже было прямое оскорбление. В научных кругах принято называть друг друга по имени-отчеству или коллега, слово товарищ звучит пренебрежительно, а то и враждебно: ты, мол, не из наших, милейший. Князь взорвался. «А где оргвыводы?» – вопил он. Студенты его захлопали и затопали. На этот раз наука обошлась без оргвыводов. И ничего, сошло.

Несмотря на огромные потери, тотального разгрома в науке не произошло. Надо было придумать что-нибудь более глобальное. И за этим дело не стало. Началась борьба с космополитизмом в науке и вообще с безродными космополитами (БК).

Распознать БК было нетрудно – Б определялась по паспорту, причем имени Ефим было достаточно для ее (Б) идентификации, а К определялся по наличию иностранных имен в устных или письменных выступлениях. Далее события плавно перешли к репрессиям против евреев и успели завершиться кровавым делом врачей. Следующим этапом должно было стать всеобщее изгнание евреев в отдаленное место, где легче было бы, по примеру Гитлера, решить еврейский вопрос окончательно. Но тут Сталин умер.

История никого не учит, даже великих злодеев. Сталин хорошо усвоил нацистскую теорию и практику, но оказался плохим семинаристом. Иначе бы он постарался понять, почему нацисты были с позором повешены, а великий Третий Рейх раскололся, как орех, на две половинки. И почему после Катастрофы состоялся кибуц галуיות (собрание евреев на Земле Обетованной). Да и как было ему понять? Ведь он был уверен, что Гитлера и Германию уничтожил он, Сталин, и что Государство Израиль без него бы не состоялось. Успел ли он понять что-нибудь перед смертью?

А пока что папу стали прорабатывать за космополитизм. Адольф Аркадьевич Равдель был прекрасным лектором, любимым преподавателем и неординарной личностью. Но фамилия у папы была без суффикса, как говаривал наш университетский учитель С.М. Ария (тоже не ариец), и он называл закон сохранения энергии законом Лавуазье-Ломоносова, а не наоборот; рассказывая про периодический закон, упоминал Лотара Мейера и, подчеркивая гениальность Менделеева, перед которым преклонялся, даже рисовал на доске мейеровские весьма несовершенные таблицы. К тому же, он беспардонно восхвалял английских лордов Кавендиша, Пристли, Рэлея, Рамзая и др. за их вклад в науку, когда известно, что «может собственных ньютонов Российская земля рождать». За папу взяли. Дома стало тревожно. А тут еще папу послали на Черноморский флот в командировку, как в 37-м году, откуда он тогда вернулся вредителем. За время командировки дело продвинулось, осталось только исключить папу из пар-

тии, а там дорожка накатанная. И вот осенью 49-го года на Московском вокзале папу встречали двое: мама и начальник химического факультета контр-адмирал Антипов. Антипов велел папе не ехать ни домой, ни на работу, а отправляться в Военно-морской госпиталь, где ввиду резкого обострения папиной болезни, его ждут немедленно. Папа отрапортовал о командировке, Антипов пожал папе руку и уехал. Родители рассказывали, что он не произнес ни одного лишнего слова. Мама с самого начала гонений общалась с Антиповым, но об этом не знал даже папа.

Папа пролежал в больнице долго. Ему придумали какой-то спонтанный пневмоторакс. Однако волнения продолжались. В нужное время Антипов передал папе, что пора писать заявление об отставке по состоянию здоровья. Папа был уволен с сохранением воинского звания, наград, полковничьей пенсии и других положенных льгот. После выписки из больницы он прошел по конкурсу в Технологический Институт, где проработал последующие тридцать лет. Мама была счастлива – опасность миновала, а папа давно мечтал уйти из армии. Но мамино счастье было недолгим: в перерыве между работами до нового учебного года папа встал на партийный учет в жилконторе, где и познакомился с Евгенией Александровной. Так у папы началась новая счастливая жизнь, а у мамы – Голгофа.

АНТИПОВ. Он не был другом нашей семьи. В Самарканде у родителей образовался новый круг друзей – Цукшвердты, Кесаревы, Меламеды, Дубянские. Жили все близко и то и дело бегали друг к другу, курьерами обыкновенно служили дети. Семьи часто собирались у нас, особенно после переезда Розенбергов. Коронными блюдами был турнепс, натасканный мною с окрестных полей, тушеный с хвостами курдючных баранов, и пироги из какой-то выдаваемой в пайке махи (типа грубой маисовой муки) с урюком и тутовником, тоже не купленными. Ни соды, ни дрожжей не было, вместо них папа приносил углекислый аммоний, от которого тесто всходило

до небес, но быстро опадало. Заводили патефон, танцевали танго и фокстрот, иногда пили вино, подаренное аидиным отцом – виноделом Цатуровым (дарил он сразу «четверть» – трехлитровую бутылку). Антипов, старший по возрасту и званию, присоединялся к домашним встречам лишь по особым случаям. Мое первое воспоминание о нем относится ко времени эвакуации из Астрахани. Папа был послан на Черное море для выполнения боевого задания – испытаний разработанных им дымовых завес в боевой обстановке. Связи с ним почти не было, и мы очень волновались. Помимо опасности задания, непонятно было, где и как он сможет с нами воссоединиться – ведь нам предстоял долгий путь с неизвестным местом назначения, неясным маршрутом (по суше? по воде?) и трудностями связи. Мы уже сидели на тюках на астраханском вокзале, когда по эшелону разнеслась весть, что папа прилетел и рапортует Антипову. Мы понеслись к ним по платформе. Близко нас не подпустили, и мы долго смотрели, как пыльный, худой и загорелый папа тихо рапортует плотно-му прямому как дверь адмиралу с красным красивым лицом военного. Оба стояли «смирно». Рапорт закончился, Антипов сказал «вольно», они пожали друг другу руки и крепко обнялись. Оба сияли.

Следующим воспоминанием об Антипове была наша эвакуация на военном корабле. Рокотали бомбардировщики, выли сирены, гремели зенитки. В нашу каюту заглянул Антипов и спросил: «Все в порядке?» Теперь следовало бы написать что-то вроде «И на душе стало спокойнее». Но спокойнее не стало, было страшно, страшно и страшно. Но он все же не шипел, как другие начальники: «Уймите детей! Не создавайте паники!»

Уже после войны Антипов пригласил нас на выходные в Карелу, как он по старинному называл Кексгольм (позже Приозерск). У них там был дом, стоявший у леса с видом на Ладогу. Кругом были поросшие соснами озы – длинные хребтистые холмы, разделенные мокроватыми низинами. Мы собирали там грибы и клюкву, и, наверное, тогда я полюбила все это на всю жизнь.

К папиному восьмидесятилетнему юбилею мы – Боря, Алек и я – написали онегинской строфой поэму с иллюстрациями под названием: «АДОЛЬФ РАВДЕЛЬ. Энциклопедия русской жизни» (см. приложение).

В поэме довольно подробно излагается папина биография, так что дополнять ее прозой не имеет смысла. Впрочем, кое-что поясню.

Папа еще в Мариуполе посещал марксистские кружки, в 19-м году вступил в ВКП(б) и вскоре в армию. Благодаря своей марксистской образованности он в совсем юные годы служил комиссаром в высоком чине и в гражданскую участвовал в польской кампании, которую считал бездарной. Он гордился тем, что никогда не носил табельного оружия, даже кортик ему выдали лишь в конце Второй Мировой войны под новую парадную форму, и уж никогда ни в кого не стрелял. В детстве это меня разочаровывало – нормальные герои должны стрелять! Зато в гражданскую у него была лошадь как средство передвижения, и сам маршал Буденный вручил ему награду – именные серебряные часы! Но скоро ему, видно, надоело комиссарить, и он с разрешения начальства и продолжая быть военнослужащим, поступил на химический факультет Университета, по окончании которого перешел во флот и занимался исследовательской и преподавательской работой в соответствующих Военно-морских заведениях. Несмотря на свое разочарование в идеях революции и ее результате – Советской власти, он не вышел из партии и даже сохранил если не марксистские, то твердые материалистические взгляды, очень огорчался, что внучка Марина с мужем пришли к религии, говоря: «Неужели и это было напрасно?»

Кончалась наша поэма так:

Да, биография героя
Вместила весь двадцатый век...
Он современный человек,
Прошедший через розги строя.
За этот жизненный успех,
Потомки, выпить нам не грех».

МОЙ КОНДУИТ

Я уже писала о распределениях на работу выпускников нашего курса. Шел 54-й год, Сталин умер, я была на девятом месяце беременности, и наши вершители судеб не посмели послать меня куда-нибудь в Тьму-Таракань, а распределили в Ленинградский кораблестроительный НИИ, куда я и отправилась после получения диплома. В отделе кадров меня направили в спектральную лабораторию, которой заведовал известный в городе спектроскопист. Он провел собеседование, при мне позвонил моему научному руководителю М.М. Клеру, мы отправились к заведующему отделом, и они меня буквально схватили. Остались формальности. Это была удача! Через несколько дней мой будущий шеф позвонил и грубоватым голосом попросил зайти. В лаборатории меня ждали двое – он и зав. отделом. Они протянули мне университетскую характеристику. Характеристика была написана под копирку от руки моим почерком с наглой припиской другим почерком: «Чувство общественного долга выражено слабо, что выразилось в защите шкурнических интересов студентов при распределении». Глаза застлали слезы, больше гнева, чем разочарования. «Но этой концовки не было!» – воскликнула я и рассказала, как мы протестовали против несправедливого распределения. «Как фамилии этих студентов?» – «Зак, Варшавский, Сомин и т. д.» Они переглянулись. – «К сожалению, мы ничего не можем сделать. Мы очень хотели с Вами работать. Если что-нибудь изменится, мы Вам позвоним». Я уверена, что они были искренни. И меня направили в химическую лабораторию Балтийского кораблестроительного завода, то бишь верфи, созданной еще при Петре. Это был вполне современный гигант, где от цеха к цеху надо было ходить по полчаса. Его территория выходила на «ковш» Финского залива, там стоял эллинг, откуда редко и торжественно сходили в море новенькие военные корабли. «Лаборатория» представляла собой комнату с десятком канцелярских столов, занятых моими коллегами. Меня встретили очень приветливо, хотя и немного настороженно. Мне

хором показывали завод, приглашали в заводскую столовую, кормили домашними заготовками, а главное, чуть не каждый день отправляли в городские командировки, что считалось большой привилегией. Но скоро я поняла, что дело было не в моем обаянии и эрудиции, а в том, что они поначалу стеснялись своего времяпрепровождения. Лаборатории как таковой еще не существовало, и они якобы занимались документацией. Я, например, переводила с немецкого документацию полученного по репарациям цейсовского оптического оборудования. Они же в основном гуляли по заводской территории, читали художественную литературу, упрятанную в папки среди аналогичных папок, или вязали под столом, держа клубки в ящиках. Но больше всего они любили пить бесконечные чаи и обсуждать семейные дела и киноартистов. Я не раз принимала в этом участие, но, отправив меня в город, они чувствовали себя вольготнее. Возможно, не хотели развращать молодежь. Наконец, я не выдержала и решила поговорить с начальником, сидевшим в той же комнате, об увольнении. Он отнесся с пониманием, но рекомендовал не торопиться, а найти хорошее место, а он поможет мне уволиться по сокращению с выходным пособием. Так я перешла в лабораторию Геологического управления, где создала спектральную лабораторию, подобрала людей и стала ею заведовать. Вот уж здесь было не поволыннить!

Лаборатория располагалась на 13-й Линии во дворе большого старинного дома в какой-то убогой пристройке. Думаю, что раньше это была дворницкая с разными службами. Научный институт, завод-гигант, а теперь эта живопырка! Я определенно качусь вниз. Бежать отсюда, пока еще не поздно! Но я все-таки вошла в полуподвальный зал – химическую лабораторию. Длинные химические столы с персональной вытяжкой, общая приточная вентиляция, обилие цейсовского стекла, специальные белые мойки вдоль стен, специальная обувь – не сравнить с нашими университетскими лабораториями с драным линолеумом, ржавыми раковинами и вечной нехваткой мерной посуды и реактивов. Заведующий всем аналитическим комплексом Владимир Яковлевич Ключкин, умевший как никто доверять

сотрудникам, подвел меня к молодой женщине – руководителю группы редкоземельных элементов Иде Семеновне. С трудом оторвавшись от своей бюретки, она взглянула на меня и сказала: «Ух ты! Замужем?» – «Да.» – «Ребенок есть?» – «Да.» – «Еврейка?» – «Да.» – «Ну тогда еще ничего, не сбежишь», – и повела меня на экскурсию. Лаборатория специализировалась на редких и рассеянных элементах, естественно, в следовых количествах, и пропадала без более чувствительного и быстрого спектрального анализа. Посыпались завораживающие слова: гафний, иттербий, ниобий... Неужели они и правда существуют не только в таблице Менделеева? И я осталась, о чем не пожалела.

Мне был дан карт-бланш, и не прошло и полугода, как «спектралка» была полностью укомплектована приборами, людьми и методиками. Только по молодости и наглости можно было ничтоже сумняшеся взяться за это. Может быть, поэтому у меня и вышло. Вскоре я и мои коллеги могли, не глядя в таблицы, найти в спектре тот же ниобий, иттербий и иже с ними и на глаз примерно оценить их количество. Когда я во время командировки в Болгарию за три минуты расшифровала на пятьдесят элементов спектр какого-то редкого минерала, коллеги аплодировали. За тринадцать лет работы в геологическом Управлении мне удалось разрабатывать методы, вести научную работу с университетом, ездить в научно-методические командировки от Колымы до Германии, делать доклады, писать статьи, освоить прикладную статистику и подготовить диссертацию. В общем, это была отличная школа самостоятельности.

Существенной частью профессионального и человеческого опыта были командировки – поездки по всей стране и даже за границу. Меня включили в научный совет по аналитическим методам Министерства Геологии (НСАМ) в группу метрологии и статистики. Это был большой толчок в моем самообразовании. Я ездила на всевозможные семинары, влилась в «школу В.В. Налимова» и участвовала в разработках по метрологии, планированию эксперимента, систем контроля и т. д. Знания

приходили и из книг, но больше всего из многочасовых дискуссий, в том числе и с Алеком, а позже и с сыном Димой, который доходчиво вложил в мою малоученую голову необходимый минимум сведений по линейной алгебре.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ

Я влюбилась в спектральный анализ еще в университете, когда в первый раз взглянула в выходную щель спектрографа. Видимая часть эмиссионного спектра необыкновенно красива. Чистые яркие цвета спектральных линий на черном фоне невозможно увидеть больше нигде. Вот тонкие сине-зеленые линии хрома, вот толстая раздвоенная зеленая линия меди, бьющий в глаза ярко-желтый дублет натрия 589 нм, оранжевый кальций, вишнево-красный калий, а если повезет – темно-красный, исчезающий в инфракрасном мраке, рубидий. В лаборатории жужжат вольтовые дуги, пахнет озоном и, как нигде, растут растения. Став постарше, я заброшу спектральный анализ ради статистики, внешнюю красоту ради внутренней, но мне кажется, что и сейчас, спустя тридцать лет, я смогла бы расшифровать спектры геологических проб наизусть.

Командировки в научных кругах Советского Союза – это была большая лафа, особенно конференции и проч. Не все так плохо было в Датском королевстве. Научные работники должны повышать квалификацию? А как же. Не все же на овощебазах гнилую картошку перебирать, тем более, что денег никто не считает, потому что все вокруг народное. И вот мы катались по городам и весям, нас селили в лучшие гостиницы, выделяли рестораны, которые, ввиду всеобщего дефицита, на дни сессии закрывались для простых смертных, возили на экскурсии и в театры. Днем интересные сессии, вечером не менее

интересные тусовки. Так я объездила города Урала, Сибири, южных республик, Прибалтики и не только. И везде друзья и праздник, который всегда с тобой. И среди прочего, за мои успехи на поприще обмена опытом профсоюз наградил меня научно-туристической поездкой в Германию. Научного у нас был только заезд в Йену на Цейссовские заводы и институты. И вот:

ГЕРМАНИЯ И НЕМЦЫ

Это был 1956 год. Советский Союз уже отстроился после войны в значительной степени за счет репараций, труда немецких военнопленных и наших заключенных. В конце и после войны советская каторга пополнилась «предателями Родины»: из немецкого плена, из оккупированных немцами территорий, ненадежных западных и кавказских народов. Мы ехали на поезде, и следы, а точнее, последствия войны впечатляли. Чувства были, как теперь бы сказали, амбивалентные: типа «пусть поживут немного в нашей шкуре». Берлин, однако, поначалу привел нас в восторг – первая в жизни заграница, симпатичная гостиница, любезное обслуживание, богатые (по нашим понятиям) промтоварные магазины, памятники архитектуры, парки, прекрасные дороги. Однако чуть позже наша замечательная гид Мелита провезла наш автобус по Восточному Берлину, и мы увидели разрушенные и закопченные войной дома, развороченную землю, заросшую чахлой порослью, то есть то, чем встретил меня двенадцать лет назад Ленинград. Почему так? Ведь у нас все давно отстроено. «Да потому, что мы вам репарации платим, в том числе и рабочей силой», – отвечали нам. Многие из наших громко и злорадно комментировали, и я в основном разделяла их чувства, вот только бедную Мелиту было жалко. Унтер ден Линден, Брандербургские ворота, рейхстаг за условным тогда заграждением хватали за сердце. Многие плакали. Город утыкан устойчивыми конными статуями,

казавшимися мне одинаковыми. Проход через Ворота для берлинцев был тогда свободным, и мы стояли и смотрели, как они ходят из одного мира в другой. Кто-то предложил проехать в Западный Берлин на метро, которое связывало весь Берлин, но Мелита отсоветовала.

После Берлина мы вернулись в автобус и поехали по прелестным маленьким городам Восточной Германии. Здесь почти не было следов войны, узкие улочки, дома с фахверками, похоже на Таллин, только гористее, чище, светлее.

Мы галопом объездили большие города с бесконечными соборами, замками, музеями и памятниками (большей частью конными), но у меня не осталось в памяти ровно ничего, и я не отличу Лейпцига от Веймара. Но не Дрезден. Проезжая по городу к знаменитой Театральной площади с еще более знаменитым Цвингером, мы видели на окраинах новые районы типично советской застройки, а в самом городе – громадные пространства сплошного щебня – результат знаменитой союзнической ковровой бомбардировки в феврале 1945-го. Сам старый город, считается, пострадал меньше, но все же был в плачевном состоянии. А Цвингер, дворцовый комплекс, один из лучших памятников позднего барокко, тоже был слишком растерзан, чтобы увидеть ту красоту, которой можно любоваться в теперешних альбомах. Цвингеру повезло, – считали немцы, – он хорошо построен, он мало обрушился. *А зохен вэй*. По закопченным стенам вяло ползали строители, громыхали краны. И все-таки Цвингеру повезло – на городском референдуме полубездомные жители проголосовали за то, чтобы центр и старый город восстанавливался в довоенном виде. Альтернативой была скоростная типовая застройка, возможно, облегчившая бы жилищный кризис.

А внутри, в знаменитой галерее, нас ждала недавно возвращенная Сикстинская Мадонна – грандиозный шедевр Рафаэля.

Февраль 45-го... Германия догорает. Зачем Дрезден? Но тогда зачем Хиросима? Чтобы прекратили сопротивляться и лить кровь? Да. Но еще больше чтобы NIE WIEDER («никогда больше»). Ну и как?

А Веймару не повезло другим образом. Мало того, что в нем состоялось позорное Веймарское соглашение, так еще и Бухенвальд был рядом. Интересующимся советую заглянуть в Википедию. Я же коротко расскажу о запомнившихся деталях.

По плану после Веймара предполагался Бухенвальд. И Мелита, и оба наших шофера умоляли нас туда не ехать, предлагая любую экскурсию с купанием и пикником. Но мы поехали в Бухенвальд. YEDEM DAS SEINE («каждому – свое») – ударила нас надпись на воротах. В СССР это изречение не тиражировалось, возможно потому, что оккупационные власти сами использовали Бухенвальд как концлагерь (не пропадать же инфраструктуре). В экспозициях были все кошмары, многие из них подлинные, как, например, изделия из волос и кожи, но меня больше всего поразила аккуратная гора детской обуви в одном бараке. Многие совсем-совсем маленькие. Немцы, конечно, большие мастаки по комплексному использованию сырья, но в детской изношенной обуви какая корысть? Многие плакали. Среди наших раздавались голоса: «Вот их культура! А то Гете, Шиллер...» Отвернувшись, плакала Мелита. Я позволила себе ей сказать: «Не плачьте, Мелита. У нас тоже были лагеря и Сталин вместо Гитлера». Такое вот утешение.

РАЗБИРАЯ НЕМЦЕВ. Многое интересно в путешествиях, но люди интереснее всего. Поэтому я предпочитала командировки организованным туристическим поездкам. Поездка же в ГДР была все же туристической. Тем не менее, кое-какие встречи запомнились, а много позже мне довелось сравнить эти впечатления со встречами в Западной Германии периода разборки Берлинской стены на сувениры (один такой отбитый нами кусок стоит на моей полке в Израиле). Общение, в основном, возникало на нескольких организованных встречах с пивом и танцами. Проблем с языком почти не было, так как всегда выручал коктейль из немецкого, русского и английского. Сосед по столу предложил мне переписываться для усовершенствования в языках, мы обменялись адресами, и, глядя на мой адрес (кв. 11), он спросил, неужели в моем доме так много квартир. Небось, думал, что в Ленинграде избы. Я несколько

разозлилась и посоветовала ему поговорить с кем-нибудь из соотечественников, побывавшем в захваченных русских городах или в плену на восстановительных работах. С партнером по танцам мы обсуждали наши семьи. Узнав, что с нами живет наша няня, он вытаращился и спросил: «Кто ты такая? Как это может быть? Ты же живешь в главной социалистической стране, а у тебя прислуга!» Я чуть не задохнулась от невозможности его куда-нибудь послать. Третий был нормальный и с хорошим английским, и я с ним неплохо поговорила, но под конец он меня ошарашил. После очередной кружки пива он сказал: «Я ненавижу эту страну. Здесь все фашисты». – «Как? Они же бежали от коммунистов на Запад». – «Ошибаетесь, они постарались перебраться сюда; здесь полно мелких эсесовцев, гестаповцев, надзирателей. И здесь в зале их полно, никого не боятся, хорошо устроились». (Это была встреча, организованная Обществом советско-германской дружбы.)

Уже в семидесятые годы в Университете у меня были трое студентов из ГДР. Это были самые способные и прилежные ребята на курсе. Один раз на перемене семинара я сидела за столом и читала Агату Кристи. Ко мне подошел Курт, посмотрел на книгу и сказал: «Как! Вы читаете Агату Кристи? Да еще на английском? А я перед Вами преклонялся! Вы наш любимый преподаватель!» – «А что же теперь случилось?» – «Это же буржуазная писательница, она же безыдейная!» От волнения он перешел на немецкий. «Вот вы в Германии это и расскажите, а у нас, слава Богу, это не преступление». Уже перед моим драматическим уходом из Университета они пришли ко мне домой проститься. Они уже защитили дипломы, и я спросила их о дальнейших планах. Курт оставался в Ленинграде в аспирантуре, Франц женился на русской студентке и очень надеялся, что немецкие власти разрешат ему остаться в СССР, а третий тоже не собирался возвращаться в ГДР. Они рассказали, что в Германии им предстояло бы два года находиться в некоем «карантине», то есть нельзя будет преподавать, и придется ходить на какие-то идеологические курсы, чтобы избавиться от скверны распоясавшегося Советского Союза.

Последующие мои контакты происходили уже с другими немцами – западными. Первой появилась в нашем доме Альмут, приехавшая в Ленинградский университет по обмену из Тюбингена. Это было перед самой перестройкой. Мы были рекомендованы ей Друскиными и очень сблизилась за несколько месяцев ее пребывания.

КОЛЫМА

Не пугайтесь, это была всего лишь командировка по внедрению нового метода спектрального анализа – пламенной фотометрии. Она была знаменательна во многих отношениях. Мне пришлось (скорее, удалось) понять, какой наивной барышней я была, несмотря на всю свою продвинутость.

Лаборатория находилась в поселке Хасын Магаданской области. Чтобы разузнать о ней побольше, мне посоветовали обратиться к сотруднику института ВСЕГЕИ Белозерскому. Это был очень симпатичный и компетентный немолодой человек, который заведовал хасынской лабораторией почти 20 лет и перешел во ВСЕГЕИ совсем недавно. Он подробно рассказал мне о крае, климате, лаборатории и людях и просил передать приветы и подарки. «А вы туда не собираетесь?» – спросила я. Он как-то странно посмотрел на меня и не сразу ответил: «Надеюсь, что нет».

Лететь мне надлежало до Магадана с пересадкой в Хабаровске, подольше, чем сейчас до Америки. В самолете я разговорила с соседом – молодым офицером Андреем, скромным и приятным вопреки стереотипу. Он служил в Петропавловск-на-Камчатке и считал, что ему очень повезло. Повезло? Да это же край ойкумены в буквальном, а не в переносном смысле. «Это если выросли в Ленинграде, а не в Богом забытом рабочем поселке в Якутии». Оказывается, он родился в сравнительно образованной семье горняков и кончил Военно-инженерное училище в Якутске. Он не мог нахвалиться Петропавловском –

и климат там хороший, и вечной мерзлоты нет, все растет, горы, вулканы, красота, охота, альпинизм, рыбалка, грибы. А люди! Академия наук, геологи, физики, московская интеллигенция... А я-то думала, что это рабочий (рыбачий?) поселок, время от времени смываемый цунами.

Что бы я делала без Андрея! Он оказался рыцарем без страха и упрека. Прилетев в Хабаровск, мы обнаружили, что аэропорт переполнен дошедшими до ручки и потому агрессивными пассажирами. Самолеты непрерывно прилетали, но улетали только в западных направлениях. Радио орало: такой-то полет откладывается, такой-то аэропорт закрывается и тут же сразу открывается, поэтому люди не уходили за пределы слышимости, а толпились у радио, сидели на ступенях и мокром полу. Андрей высмотрел солдата, сидевшего на нормальном сидении, схватил меня за руку и бросился со мной к солдату: «Рядовой, освободите, пожалуйста, место для моей беременной жены. А ты, Галя, сиди и жди меня.» Так мы перешли на ты, и я получила статус жены военнослужащего. Побывав в диспетчерской, Андрей вернулся с индивидуальным номером телефона какой-то диспетчерской барышни. И мы отправились смотреть Хабаровск и обедать, время от времени звоня этой доброй барышне из автоматов для получения информации... В памяти у меня сохранились лишь хабаровские сверкающие неоновыми рестораны, меню которых было одинаковым: красная икра, горбуша в разных вариантах, другая рыба и все те же крабы. Ни картошки, ни мяса, ни помидорчика, ни других овощей не было. И пива не было. Сведения из аэропорта не обнадеживали, мы пошли от дождя в кино, причем и оттуда Андрей все время бегал звонить. Деваться некуда, к ночи мы вернулись в аэропорт. За это время вокруг него раскинули километровые тенты с нарами, люди толпились, трясся перед охраной своими привилегиями. Мне, как беременной жене, Андрей опять пробил место и хотел было пойти похлопотать о себе, но податые соседи по нарам сразу стали меня лапать. Я завизжала, Андрей прибежал обратно и встал около меня, а я, наглая баба, немедленно заснула под его приглядом. На следующий день

открыли Петропавловск, и пассажиров пригласили на посадку. Андрей пошел туда, и я пошла его проводить. Вдруг он остановился и сказал: «Я не полечу». – «С ума сошел?!» – «Я не могу тебя здесь оставить. Тебя затопчут. А мне успеется». Я протестовала и умоляла, и он уступил, но не раньше, чем сдал меня на руки военному коменданту аэропорта. Верите или нет, у нас не было ни намека на романтические отношения, но перед посадкой мы обнялись, как близкие родственники. Как мама с Джентльменом.

На следующий день открыли Магадан. «Скорее, – торопили нас, – прогноз плохой, как бы не завернули обратно». И вот мы летим, а лету всего два часа, а потом по трассе Магадан – Оймякон до Хасына 100 км на машине, которую должны были за мной прислать. Но ведь они не знают, что я, наконец, прилетаю. В аэропорту к телефону не пробиться, да и связи вечно нет. На подлете к Магадану нам сообщают, что он закрылся, и посадку дают на военном аэродроме на 50 км севернее Магадана. Кого не устраивает, может вернуться тем же рейсом в Хабаровск. Я решила не возвращаться. Аэродром был на полпути до Хасына, сяду на трассе на автобус и доеду. Суббота, день короткий, на помощь в Магадане рассчитывать все равно не приходится. В аэропорту выяснилось, что до трассы 10 км, а редкие автобусы по субботам кончают ходить рано. Можно ли подкинуть меня на трассу, а там я проголосую? – Можно, но не советуем. – А что, машины не ходят? – Пожимают плечами. Короче, я наняла козелок и вылезла на пустынном шоссе, окруженном исчезающими в облаках сопками. Через полчаса показалась первая машина «Победа» и остановилась. «Куда?» – «До Хасына. Знаете?» – «Да как, б..., не знать, это за Палаткой. Садись, к такой-то матери». Ну и что делать? Люди страшные, а без людей еще страшнее. Поехали. Говорят по-русски, но непонятно, и мат-перемат. «Что тебя, дамочка, на Колыму занесло?» – «На какую Колыму?» – «Во дает, б...! Да ты же по Колымской трассе едешь, трам-тарарам». – «А до Хасына доеду?» – «Куда ты, на фиг, денешься? Между Палаткой и Аткой, секешь?» Я рассказала им, откуда и зачем я еду,

и слышала: «А, так ты едешь к этому ж-жиду? 20 лет на зоне отгрохал, сука, а теперь в начальнички подался, б... То-то мы смотрим – дамочка с Большой земли – белая такая и вся из себя фря, б...» Только бы не зареветь. – «А вы здешние?» – «Мы волки серые. А знаешь ли ты, что по трупам едешь?» – «Как это?» – «А вот так. Летом зеки жили в палатках в этой самой Палатке и долбили мерзлоту под трассу, А зимой они в Палатке вымерзали, а мерзляков складывали в эти рвы и заливали раствором. А уж мостили потом». – «Не может быть!» – «Сам видел, б... буду». «А Атка?» – «А в Атку посылали тех, кто трупы укладывал. В Палатке им было не жить». До меня стало доходить, что это не просто ужастики для столичной дамочки, что-то в этих мифах есть. Не удивляйтесь – в 58-м году «на Большой земле» еще мало кто знал о подробностях нарушения социалистической законности. «Только ты, молодая, не трепись. Исчезнешь на фиг, и никто не найдет. Здесь тундра, болота да волки». Вроде убивать не собираются. «А в Ленинграде бывали?» – «Нет, никогда. Вообще в Европе не были». Я стала заговаривать им зубы про Питер с большим, надо сказать, успехом. Восхищенный мат так и висел. Небось, тоже думали, что я заливаю.

Наконец, подъехали к повороту на Хасын. Вопреки ожиданиям они привезли меня в центр поселка, с матом отказались взять деньги и, высадив, дали длинный гудок и уехали. Ну и ну – и эти рыцари. Я огляделась. Был июнь, белая ночь, большой довольно утлый поселок. Вокруг высокие сопки, покрытые редкими кривыми деревьями. Местами лежит снег, хотя широта ленинградская и не холодно. Мерзлота! На гудок стали выходить люди. Вскоре набежала целая толпа. Хай стоял невероятный. Оказывается, я пропала, меня не нашли в Хабаровском аэропорту, в Магадан я тоже не прилетала, подозревали, что меня умыкнули, и уже собирались объявить розыск. Да и как я доехала? Ведь автобусы уже не ходят. Узнав как, совсем пришли в ужас. «Да вы что, здесь люди ни за что пропадают, здесь женщин 30% населения, а вы молодая, красивая, считайте, что заново родились». «А Таня Успенская есть?

Ей письмо от Белозерского». Таня вскочила, стала меня целовать и сказала, что жить я буду у нее.

Таня жила одна в таком же убогом домишке, муж геолог, сейчас в экспедиции. Жила она тут лет семь, но в чистом доме с электричеством и водопроводом все было какое-то временное: вдоль стен заполненные вещами чемоданы, лампочки без абажуров, книги в ящиках, минимум разномастной посуды и прочее. У нас в эвакуации и то было как-то основательнее. Потом я увидела, что так было и в других домах. Прорехи не ремонтировались, а подлатывались. Как я вскоре поняла, люди все время собирались уехать. Кончался трехлетний договор, после которого им полагался шестимесячный отпуск, и они с громадными «северными» деньгами отправлялись к родным, на льготные курорты и искали, где бы осесть. Вот тут и выяснялось, что хорошее место найти трудно, жилье тем более, а главное – заработки везде несопоставимы с северными. А ведь они привыкли хорошо жить (!). И они возвращались в свою «хорошую жизнь» до следующего отпуска.

С Таней мы сразу же подружились. Имя Белозерский вообще в лаборатории было палочкой-открывалочкой, а для Тани, его любимой ученицы, особенно. Она попросилась ко мне на пламенную фотометрию, и мы почти не разлучались. И поведала она мне историю про необыкновенную жизнь и любовь Белозерского. То, что я сейчас расскажу, сложилось из рассказов Тани и других сотрудников и более поздних разговоров с самим Белозерским. А история такая.

В тридцатые годы Белозерский был известнейшим химиком Дальнего Востока – специалистом по редким элементам, которыми только начинали заниматься. Для неосведомленных могу сказать, что драгоценные металлы просто мусор по сравнению со стоимостью редких элементов, так как последние, как правило, не концентрируются в специфических минералах, а находятся в состоянии рассеяния. Короче, золото валяется слитками, ну пусть даже песчинками, но не надейтесь увидеть песчинку тантала хотя бы в музее. Белозерский был пионером в открытии в дальневосточных рудах, выделении и определе-

нии редких элементов, автором многих трудов и руководителем научного института во Владивостоке. В 37-38 годах он был арестован и осужден. Жена сочла за благо отказаться от него и получить развод. Сколько-то лет он доходил в лагерях Колымы, а потом был разыскан в лагерной больничке, подкормлен, подлечен и направлен в шарашку. Это не была шарашка типа описанной Солженицыным. Ему приказали организовать лабораторию Геологического Управления на пустом месте, и каждый день отрывали от барака и баланды, чтобы привезти в наручниках и под конвоем в Хасын. Там с него снимались наручники, и он превращался в расконвоированного начальника с неограниченными полномочиями. Работали в лаборатории все больше женщины, зечки и контрактницы, имеющие хоть какое-то химическое образование или опыт. Он продолжал бы голодать, но сотрудники его любили и подкармливали. И Таня, и сам Белозерский говорили, что его враждебная деятельность никем всерьез не принималась, даже конвоирами, отношение было уважительное и доброжелательное, хоть и держали язык за зубами; тем не менее, в нужное время на него снова надевались наручники, и он уходил у всех на глазах в воронок под окрики «пошел!», «лицом к стене!» и пинки прикладами. Был человек, и нет человека, есть зек.

В неформальной обстановке конвоиры рекомендовали завести бабу – здесь они белые, чистые, не зечки какие-нибудь. Белозерский завел, но не бабу, а любовь, о которой никто не догадывался. Она была химиком с кандидатской степенью из Ленинграда, приехала сюда с мужем НКВДистом в высоком чине и работала по контракту. В Ленинграде за ней бронировалась квартира и работа. Как они умудрялись развивать свои отношения, было непонятно, спасали «шпионские явки» с обменом записок, они даже изредка встречались наедине, оставаясь в лаборатории сверхурочно.

Б. отбыл срок еще до смерти Сталина, но оставался под надзором и с поражением в правах. Он продолжал работать в лаборатории вольнонаемным за гроши, так как льготы контрактников на него не распространялись. Ира (так, кажется,

звали его возлюбленную) попросила у мужа развод, который получила без неприятностей, за что НКВДешник считался в лаборатории благородным человеком. Сам Б. относился к этому мнению иронически, но объяснять ничего не стал. Прошло лет пять вольной жизни, и умер Сталин. Еще до знаменитого доклада Хрущева на съезде в 1956 году и последующей массовой реабилитации с отбывших срок стали снимать поражение в правах, и Ира заговорила о переезде в Ленинград, где у нее по-прежнему сохранялась квартира и работа. Б. испугался: это все ненадолго, у них сила и длинные руки, они вернутся и похватают бывших зеков, чтобы не болтали, вернут в зоны, где быстро доконают. Чем плохо здесь? В общем, переехали они не сразу, и Б. до самой реабилитации боялся «светиться» и отказывался от авторства в публикациях.

В 1960-м я встретила Б. на конференции в Красноярске. Я уже знала от Тани, что она встречалась с ним на его семинаре в Москве, и рассказала ему о наших беседах. Когда мы увидели друг друга, мы побежали друг к другу как старые друзья, по вечерам ходили на Енисей и не могли наговориться.

Важным человеческим опытом была поездка с лекциями в Магадан во ВНИИ-1 геологии и мерзлотоведения. Мне был придан в качестве шофера и телохранителя некто Валера, напоминавший видом и лексиконом подвозивших меня шоферюг. Правда, он старался и в случае обмолвок извинялся. И вот мы едем в Магадан, и он со знанием дела рассказывает мне про окружающий пейзаж, место дислокации зон ГУЛАГа. Значительная часть их превратилась в гражданские прииски, часть закрылась, но часть продолжает жить по старому. Там работают на золоте профессиональные урки с несколькими «ходками» и большими сроками. Да, где-то здесь сидели и наш начальник, и Белозерский.

Магадан того времени, красиво расположенный над бухтой Нагаева, был странным местом. Кучка каменных городских зданий, покосившиеся от проседающей мерзлоты деревянные дома сельского типа и пятна странных построек из подручного материала: выброшенных дверей, железа, толя, вагонки, брезента и прочего притащенного со свалки добра. Это называлось самострой. Выйдя из зон, бывшие зеки должны были как-то жить. А где? Даже за большие деньги их не хотели пускать в дома. Многие из построек уже памятники старины, но большинство используется по назначению и даже перепродается.

Я вошла в большой зал заседаний ВНИИ, где меня ждали научные сотрудники. У меня перехватило горло. Это была другая раса, не белые, как я и мои бледнолицые братья в Ленинграде, а темнолицые, с задубелой кожей, больше похожие на уголовников. Большинство сверкало металлическими зубами. У некоторых были искореженные уши (отмороженные, как мне потом объяснил Валера). Одеты они были хорошо, что только усиливало общее впечатление. Женщин я не помню. Кто-то подставил мне стул. «Вас укачало? Садитесь, пожалуйста». Отсидевшись, я стала знакомиться с моими слушателями. Твердые негнущиеся ладони, у кого-то нет полпальца, как у хасынского начальника лаборатории. Где они были? В Палатке? Атке? На приисках? Ими тоже могли бы мостить трассу. Правда это или миф – все равно правда...

Моя лекция о новых инструментальных методах анализа прошла успешно. Вопросы, оживленные дискуссии – все как у людей. Под конец устроили потрясающий обед. Надо бы сюда Гоголя или Чехова, но раз их нет, выступить в роли сирены придется мне. Подавали свежепросоленную оранжево-красную рыбу нерку, самую нежную из лососей, с которой даже семга не сравнится, голубоватые соленые грузди, застывшие в своем желе, квашеную морскую капусту, жаркое из молодой оленины с моченой моршочкой и сваренных живьем целых крабов в собственном, хорошо наперченном бульоне, которых полагалось есть руками, как омаров. Где же они взяли столько добра при всеобщем дефиците? Да все местное, бегает, плавает, ползает, растет, только на магазинные полки не попадает. Было бы время – каждый день бы ели. Перед расставанием устроили перекур. Языки развязались. Я вытащила понттовую длинную папиросу и уселась поудобнее. Один одобрительно оглядел меня и сказал: «Европа!»

Обратно мы ехали молча. Валера, всю лекцию стоявший у дверей, все поматывал шеей и, наконец, высказался: «Адолфовна, ты, наверно, нерусская». – «Почему ты так решил?» – «И такую шмокодявку чтобы так мужики слушали! Это ведь не салажата ваши, а серые волки». Опять этот термин. «А что это значит?» – «А это значит – люди серьезные, если придется, и убить сумеют».

Наконец, настало время возвращаться домой. Это потом я поняла, что мне повезло, что я побывала в другой реальности, словно увидела другую сторону луны. А тогда мне было тошно от низкого неба, ежеутреннего мелкого дождичка, надоевшей горбуши и вездесущих ненасытных комаров и мошек. В лесу, куда меня водили в выходные, без сетки-намордника шагу не ступишь, но все равно они кусались через одежду. Возле озер добавлялись олени слепни (или овода?). Шашлык в лесу делали все из той же горбуши. А где же оленина? Вон кругом бегают. Оленя надо стрелять или покупать, а кто будет разделывать? И как хранить такую тушу? Нет, оленя надо брать зимой и заготавливать строганину (мороженную оленину, которую потом тонко строгают и так мороженной и едят. Вкусно). А тут еще Андрей протелеграфировал, что его семья приглашает меня лететь в Хабаровск через Петропавловск и побыть там пару дней. Я пообещала постараться. В Магадане была задумана охота на крабов. Для этого мы приехали на берег перед началом отлива, а когда он начался, я увидела множество громадных крабов, неуклюже передвигающихся вслед за убегающей волной. Тут полагалось хватать их рукавицами и бросать в мешок. Дома их, живых и здоровых, бросали в соленый и перченый кипяток. Одного вареного краба мне упаковали с собой, мол, сутки продержится. В аэропорту я просидела несколько часов с провожатыми и комарами, и, когда объявили, наконец, посадку на прямой рейс в Хабаровск, стало ясно, что нельзя упускать шанс. Я отбила Андрею телеграмму и с облегчением улетела. Свинство, конечно.

В Хабаровске опять были многочасовые задержки и сумасшедший дом, но вот, наконец, я сообщаю Алечке, что лечу на ИЛ-16 прямо в Ленинград.

Еще на посадке я заметила, что люди ко мне принимают, да и сама я чувствую какой-то запах. В самолете после герметизации стало ясно, что запах исходит от меня. Источником его оказалась сумка с крабом. Стюардесса любезно предложила поставить сумку в неотапливаемое отделение, и я надеялась, что я его, хоть мороженого, доведу. Рядом со мной сидел вертолетчик и рассказывал мне про всякие опасные ситуации, в которых ему довелось побывать. На подлете к Иркутску, где нам надлежало сделать посадку, он замолчал, и вид его мне не понравился. Вскоре появились стюардесса и второй пилот и, улыбаясь, сообщили нам, что мы собираемся на посадку, но условия посадки довольно сложные, и это может вызвать задержку. А пока – пивка за счет Аэрофлота. Самолет кружил над Иркутском, то снижаясь, то взмывая в воздух. Многих рвало, я тоже была на грани. «Что происходит? – спросила я у вертолетчика. «Топливо выжигает. Готовится к аварийной посадке». – «Это опасно?» – «Я ничего не знаю». Тут появился пилот и сказал: «Совершаем аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Не расстегивать ремни, голову как можно ниже пригнуть к коленям и ничего не делать без команды; без паники, и сохраняйте тишину». И почти сразу мы с силой стукнулись о землю, как-то беспорядочно запрыгали и, взрывая фонтаны земли, резко остановились. Радио сказало: «Не расстегивать ремни, не вставать. Мы совершили аварийную посадку, ремонтная бригада едет для осмотра. Любое движение может привести к обрушению самолета». Пассажиры тихо переговаривались. Приток воздуха прекратился, и с каждой минутой становилось жарче и душнее. Ремонтная бригада уже работала снаружи, но люки открывать не разрешала. Людям становилось плохо, пожилым и больным разрешили надеть кислородные маски. Остальным велели беречь кислород. Первыми не выдержали мужчины. Они стали буйствовать и безуспешно бить бутылками по иллюминаторам. Многих рвало, меня в их числе. В общем, не прошло и часа, как нас стали порциями выпускать и приглашать в автобусы, обещая отдых и необходимую помощь. Многие сразу повалились на мокрую

землю, подставляя лица под мелкий дождь. Самолет чинили часов 8–10, объясняя нам про элероны или что-то вроде. Позвонить Алеку не удалось – плохая связь, разница во времени. Наконец, летим, потом начинаем снижаться, и тут новость: мы выбились из графика, Ленинград нас не принимает, садимся в Москве. Перед выходом захожу за крабом, и меня охватывает жуткая вонь. Стюардесса не разрешает оставить сумку с крабом на борту, и я еду с ним в автобусе, смердя под ругань пассажиров, выбрасываю сумку в ближайшую урну, откуда мой краб продолжает вонять на весь зал и, преследуемая служителями аэропорта и указующими пальцами пассажиров, исчезает в отделении милиции, прося помощи и защиты. Мне их оказывают и даже выделяют койку. Глубокая ночь, самолеты до Ленинграда будут только утром, я звоню Алеку, который так и не встретил меня в ленинградском аэропорту, информации у него нет, и все, что они знают, это про аварийную посадку в Иркутске. Дома никто не спит, Тита дает полезные советы, и тут звоню я, живая и здоровая.

Перенесемся, однако, на запад. В 1963 году я поехала в командировку в Болгарию. Там было все на редкость удачно. Апрель, ярко-розовый одинокий миндаль в углу гладко подстриженного сквера под окном моего балкона, большой красивый номер в центральной гостинице Рила, панорамный вид на Софию и Витошу, успешная работа, новые друзья, деловые поездки и путешествия, горы, ночевки в монастыре, *агнешко* на *скара* (молодой ягненок на решетке), отдаленные корчмы, где подают кебабчета и знаменитую ракию (гадость ужасная), но лучше всего мой балкон, где можно сидеть после душа в гостиничном белом халате, пить пиво и лузгать соленые семечки, читая английский детектив, и не отвечать на звонки.

Болгария была самой отсталой страной восточного блока, сельскохозяйственной и сырьевой колонией нашей могучей державы, этакой помидорной республикой. Там, как и у нас, был дефицит товаров, только у нас не хватало еды и одежды, а у них – оборудования и всякого железа, включая кастрюли и гвозди. На наш взгляд, магазины были полны: мясо – *свин-*

ско, телешко, говеждо, а если повезет и *агнешко*, не говоря уже об овощах и фруктах, шубах и шерстяных изделиях. Болгары же охотились у нас за кофемолками и алюминиевой посудой. Советский союз взял под крыло добычу цветных металлов и урановые рудники, а болгары, надо или нет, выписывали советских специалистов, и отнюдь не бесплатно. Считалось среди советского народа, что у нас есть нечего, потому что мы все страны СЭВа кормим, а в Болгарии считали, что мы их снабжаем устарелым оборудованием. А и правда – помидоры-то не устареют, а спектрофотометры – легко.

Тем не менее, болгары любили русских. Историческая память об освобождении от турецкого ига была сильна, и мы оставались братушками. Куда бы мы ни пришли, коллеги представляли меня как «рускиню», и это открывало двери и преодолевало дефицит. Интеллигенция жила русской литературой, а мы о болгарской и слыхом не слыхивали. Не поссорила наши страны и Вторая Мировая, хотя Болгария входила в прогерманский блок. Находясь среди воюющих стран, Болгария избежала военных действий. Болгары считали, что обязаны этим царю Борису, который сдал немцам страну без боя и многое за это выторговал. Я не знаю, где тут правда, где легенда, но якобы Борис отказался посылать солдат на русский фронт, говоря, что болгары все равно в русских стрелять не будут и сразу все сдадутся. Он якобы потребовал, чтобы во избежание инцидентов немецкие войска не покидали места дислокации без согласования и чтобы на территории Болгарии не разворачивали концлагеря. Моя подруга еврейка Грета Аскенази рассказывала, что ее семья, как и многие другие евреи, в войну просто уехала в деревню и работала на земле, а во время депортации Борис, по слухам, сказал, что просто не знает, кто у него евреи. Депортация, конечно, была, но большинство евреев ее избежало, хотя народ, как и положено, евреев не любил. Перед уходом немцы ничего не взрывали, но прилюдно повесили трех руководителей подполья. Мать одного из них, именем которого был назван блок новых домов (я познакомилась с ней в поезде), говорила, что это было чистое самоубийство.

Ее сын-офицер просто не мог допустить, чтобы Болгария закончила войну без единого акта сопротивления оккупантам. В конце войны Борис умер, по всеобщему мнению, не своей смертью. В последние годы сталинской эры болгарское руководство, которое во всем копировало советские действия, нашло и у себя группу предателей-евреев и казнило их во главе с главным коммунистическим идеологом Трайчо Костовым, евреем, как и его чешский товарищ по несчастью Сланский, и, кажется, так и не реабилитировало.

Мой ленинградский начальник В.Я. Ключкин был беспартийным евреем и потому всего боялся. Он строго следил, чтобы мы ездили в Управление на собрания, проводили политинформации, шефствовали и агитировали. Как же я была удивлена, когда, придя к нему по делу домой, я попросила к предложенному мне мясному борщу сметаны и услышала, что в этом доме мясное с молочным не мешают. Он был очень озабочен отсутствием в лаборатории партгруппы, для которой требовалось минимум трое партийных, и подослал ко мне главного партийца Матильду Исаковну. «Галиночка Адольфовна, дорогая, – сказала мне эта крохотная элегантная старушка. – Вы у нас такая передовая, почему бы вам не вступить в партию? Нам бы так хорошо работалось – вы, я и Жора». – «Матильдочка Исаковна, – нежно сказала я, – Вы же знаете, что я ну совершенно недостойна». Мы еще с ней поторговались, и она закончила: «Все-все, я к вам не подходила, мы с вами ни о чем не говорили».

Я проработала в Лаборатории 13 лет и ушла, заливаясь слезами.

УНИВЕРСИТЕТ

В конце 66-го года мои университетские «контрагенты» по договору торжественно сообщили мне, что профессор В.Ф. Барабанов желает видеть меня в составе создаваемой им кафедры

геохимии и приглашает на собеседование. У меня буквально дух захватило. Да, мы много лет работали с этим коллективом, писали совместные отчеты и статьи, обеспечивали им всю аналитическую часть, я занималась многомерным статистическим анализом данных, для чего Алечка разработал прекрасные программы для ЭВМ, как тогда назывались устрашающие шкафы, с грехом пополам выполняющие функции современных компьютеров. Мне надлежало организовать спектральную лабораторию, разработать курс лекций и практикум по спектральному анализу и курс лекций и семинаров по статистике. Я напомнила им, что диссертация моя еще на подходе, что у меня нет преподавательского стажа и что я еврейка. Да и денег дают заметно меньше. «Ничего, – был ответ, – Барабанов пока еще всемогущий проректор, у него все схвачено. И не вздумай просить время на размышление или упоминать о деньгах, он обозлится, ты должна кланяться и благодарить». Мой коллега по договору И.Б. должен был меня представить и обещал не покидать во время разговора. Итак, или – или, и никаких колебаний. Я позвонила Алеку и папе, и они не без опаски посоветовали мне принять предложение. Вечером я поехала к маме в больницу. Она так радовалась, что дожидая моего заслуженного триумфа, что выбора у меня не осталось.

И вот в мае 67-го года, уже после маминой смерти, я работаю на геологическом факультете Университета в должности заведующей спектральной лабораторией. Должность эта, не будучи ни преподавательской, ни научной, как я позже поняла, считается непрестижной, чуть ли не технической. Но Барабанов полон надежд провести меня осенью по конкурсу аж на должность доцента. Мне это представляется авантюрой, но Барабанов почти обижается на мои сомнения. Кафедра – это пол-этажа пустых комнат, где происходит ремонт. Б. – прекрасный организатор. Он дает мне две комнаты и неделю на заказ приборов, оборудования, специальных полок и столов для их размещения, а между тем, дифракционный спектрограф имеет 2.5 м длины и весит 400 кг. Попробуй ошибись. В общем, к сентябрю лаборатория была готова, оставалось разработать

методички для практикума, издать их и подготовить лекционный курс. Подошло время конкурса. Незадолго до заседания Ученого Совета ко мне подошел зав. кафедрой литологии Логвиненко (мне с ним тоже приходилось работать по договору) и сказал, что Барабанов переоценивает свои возможности, и лучше бы я имела дело с ним, он бы нашел для меня достойное и реалистичное место. Самое время выбрал – с Барабановым обо всем договорено, лаборатория готова, что же теперь?

На Ученом Совете меня представили, я доложила о проделанной работе, Барабанов, Логвиненко и Франк-Каменецкий даже показали мне большие пальцы, и я вышла в коридор, где меня ждал красный и мрачный И.Б. Обсуждение длилось часа два, и они все это время орали, как на футболе, потом вышел Барабанов и повел нас в соседнюю аудиторию. «Они меня провалили. А заодно и вас. Не скрою, причины ничего общего не имеют с деловыми. Преподавательский стаж, незащищенная диссертация и сами знаете что. Я, кстати, не знал. Почему вы, И., мне не сказали?» «Вы же смотрели документы». Они поспорили, кто же отвечает за такой прокол. Потом мы посидели, и Б. спросил: «А как у вас с Ключкиным, есть возможность вернуться? Он вас так ценит». Вот тут я задохнулась от гнева и унижения. И.Б. больно наступил мне под столом на ногу и стал выдвигать варианты. Сошлись на том, что до защиты я буду пребывать на теперешней должности, лекции, которые я не имею права читать, назовут практическими занятиями, а там, глядишь, все образуется. Образовывалось все не год и не два.

Барабанов был примечательной личностью. Он потерял на войне руку и ногу, ходил без палки, писал левой и был в неплохой форме. Впервые я встретила с ним студенткой. Мы изучали на геофаке минералогию. Лекции читала милая и добрая В.Ф. Римская-Корсакова, а практикум вел злой мужик в гимнастерке – В.Ф. Барабанов. Я боялась его, как и все, но вскоре зауважала. Он узнавал минералы с первого взгляда. А однажды я наблюдала такую сцену. Держа в руках красивейший агломерат кристаллов, он раздраженно говорил: «Вы что, не видите? Это же псевдоморфоза пирита по гранату. Потому что

выглядит как ромбоэдрическая сингония». Боже, какая красота, какие слова, какой профессионализм!

Теперь он был проректором, профессором, завкафедрой, каким-то ветеранским чином, носил хорошо пошитые костюмы, был вхож в Первый Отдел, ездил по заграницам, имел полфактитета врагов, интриговал, не гнушался врать прямо в глаза и был невероятно злопамятен. Он был хорошим лектором и знатоком минералогии, но с наукой в ладах не был. Это отчасти способствовало постепенному ухудшению наших поначалу безоблачных отношений. Существенно было и то, что я из двух максим «Сократ мне друг, но истина дороже» и «и не оспаривай глупца» больше уважала мудрую вторую, но постоянно следовала первой, за что навлекла на себя мстительный барабановский гнев. Один из таких случаев стоит рассказать. Мы решили купить на кафедру очень нужный холодильник, но ставить его было некуда, и мы отправились к Барабанову большой делегацией с просьбой разрешить поставить его к нему в кабинет. Барабанов отказал, добавив, что его кабинет и так холодный, и лишнего холода ему не нужно. Все замерли, но я, заядлая еврейская спорщица, стала защищать закон сохранения энергии. Апелляция к коллегам не помогла, все как в рот воды набрали, и Барабанов ушел, обещая меня посрамить. На ближайшем заседании кафедры он рассказал о нашем споре и сообщил, что он консультировался с самим академиком Гроссом, и тот, конечно же, поддержал его, Барабанова. Я уверена, что Гросса он и не видел, а просто врал на голубом глазу.

Другой причиной нашего противостояния был его не просто антисемитизм, а физиологический, даже наивный расизм. Обсуждая с ним прием новых сотрудников, я услышала следующее: «Я полностью доверяю вам подбор кадров, если они не будут евреями». Я попробовала мягкий вариант: «Да, я знаю университетскую политику в этом вопросе». – «Плевать мне на университетскую политику, я сам комиссар. Но я не считаю, что надо давать преимущество одной нации. И так Вася Лебедев называет нас еврейской кафедрой». (Профессор Лебедев, одноногий директор университетского Института Земной

Коры, был главным врагом Барабанова. Они постоянно сыпали на Ученых Советах сотрудников и аспирантов противоположной стороны и соперничали даже в инвалидности. Наш шеф на фоне Лебедева выглядел светлой личностью.) «Но почему? – спросила я, как дура. – Ведь у нас все русские, кроме меня и Миры». – «Ошибаетесь. Гончаров – еврей по матери, Зорина – полная еврейка, хоть и русская по паспорту, у Сорокина отец Ефим, а у вашей Тимохиной муж Позин. Но Ваське я сказал, что не жалею, так как уверен, что все они принесут славу кафедре. Но я хочу, чтобы кафедра была ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ». – «Значит ли это, что я должна набирать грузин или казахов? Кстати, есть в ВИТре Нур-Мухаммедов, хороший специалист». Барабанов опешил: «Ну почему же, есть украинцы, белорусы, эстонцы, наконец». Понятно, в общем, не евреи и не черножопые.

Как-то мы пошли с Барабановым и молодым ассистентом Володей Волковым в общежитие навестить иностранных студентов. Обычно там бардак и дым коромыслом, но к нашему визиту студенты сделали приборку. Среди прочих, мы побывали в комнате, где жили три немки и цейлонская принцесса Де Сильва Джаянти, маленькая красавица и умница, известная тем, что мыла за всех полы не только в комнате и коридоре, но и на лестнице. Мы мирно попили цейлонского чайку, а по выходе Б. сказал: «Надо бы девочкам купить хорошие чашки, они ведь в Германии к нашим стаканам не привыкли». Пришли мы в комнату к вьетнамским аспирантам, один из которых Нгуен Ван и т. д., имел руководителями меня и шефа. (К слову сказать, двое других тоже были Нгуенами. Но не родственниками.) Шеф осмотрел внутренность тумбочек, а потом полез в кровати. Но тут аспиранты бросилась к своим постелям и уселись на них. Потом они стали нас угощать блинчиками из рисового теста с мясом. Мы с Володей налетели, а брезгливый Барабанов после длительных расспросов и осмотров, вытерев посуду носовым платком, согласился попробовать. Нгуены стали резать блинчики и какие-то вкусные соленые листья ножницами. Б. вскочил и разорался, что нельзя ножницами ре-

зать и еду, и ногти. «Не ногти, не ногти», – повторяли дрожащие Нгуены, но Б. ушел в дальний угол и оттуда поддерживал разговор. Перед уходом Барабанов милостиво спросил: «Не хотите ли Вы что-нибудь попросить? Я ведь много могу для вас сделать». Наш Нгуен сказал, что в двухместной комнате троем тесно, и негде заниматься, а в читальне шумно, и они просят поселить их в большую комнату. Б. помолчал и сказал: «Так ведь это кто к чему привык». И грозно добавил: «А у вас дома, что ли лучше было?»

На защите дипломных работ комиссия обсуждала работу нашего студента, монгола из Улан-Батора. Это был способный парень с хорошим русским, и Барабанов как его руководитель сказал следующее: «Вы знаете, этот студент – монгол. Но он из хороших монголов и вполне заслуживает высокой оценки». Члены приемной комиссии сидели красные, а Барабанов явно гордился своей непредвзятостью...

В работе я была по-настоящему счастлива. Оказалось, что я люблю преподавание вообще, а студенты любят, как я преподаю. Естественно, было много и научной работы, но она не приносила мне такой радости. Ну доказали мы, что ниобий входит в кристаллическую решетку вольфрамиты, и это, наверное, важно, но мне интереснее подготовить новую лекцию, пообщаться со студентами на семинаре и видеть, что они «секут». Замечательно было то, что твердые программы существовали только по идеологическим предметам, в остальном университетские преподаватели имели привилегию определять необходимые курсы, темы исследований и строить их по своему усмотрению. Мучительные толстые отчеты не требовались, в конце года писались на одном листочке списки публикаций и докладов на кафедре и конференциях, и главным контролем была репутация в научных кругах. Все это создавало ощущение свободы. Университет считался идеологическим заведением, и это драматически сказалось на моей жизни, сломав ее по хребту. Но если ты играл по их правилам, то мог себя чувствовать комфортно, не наступая на свою совесть. В общественной жизни процветал какой-то циничный либерализм. Меня,

например, назначили куратором студенческого общежития в Петергофе. Я изо всех сил протестовала, но Пал Палыч, партийный секретарь факультета, клялся, что нагрузки большой не будет, и отказываться не советовал: «Такая важная работа вам на много лет зачтется». В первые же дни я получила райкомовский план мероприятий. Кошмар! Лекции, политчасы, политвстречи, наглядная агитация, стенгазеты и прочая хренотень, да еще ехать черт-те куда. «А вы доверьте это старосте общежития, он за это деньги получает и будет только рад». И правда, после первой же лекции староста сообщил, что на ней было пять человек. «Вот и хорошо, а мы ошибемся и напишем 15», – сказал Пал Палыч. «Но если узнают, будет скандал!» – «От кого узнают? Староста, что ли скажет? Так ему первому и отвечать, на лекцию по правде-то никто не пришел. И почти никогда не ходят. А лектор обрадовался и уехал». Но все-таки мы попались. Как-то явилась инструктор райкома, и хоть она дура по определению, а я лекции по статистике читаю, меня всю трясло. «Вы только не выступайте», – предупредил меня Пал Палыч. «Сколько студентов было на политвстрече с профсоюзными юристами?» – Пал Палыч сверился по моему журналу. – «22.» – «А вы знаете, что юристы на встречу не приехали?» – «Нам сообщили, что студенты пришли». – «Как же, им юристы за час позвонили. А кто был от факультета?» – «Да вот Г.А. собиралась, как всегда, поехать, но...» – «Ну ладно, благодарите Бога, что мы юристов подводить не хотим, а то бы...» И она переписала цифру 22 в свои бумаги.

Как-то комендант общежития донес нам, что студенты занимаются групповым сексом. Что делать? И.Б., бывший в то время заместителем декана и студенческим любимцем (студенты писали про него в стенгазете:

Это кто по коридору
Мчит быстрее метеора?
То за плечи обоймет,
То пребольно ткнет в живот...)

поехал со мной разбираться – он с мальчиками, я с девочками. По дороге я возмущалась, а И. сказал: «Ты, Шейнина, ничего

не понимаешь... Это же иногородние ребята. Им по 20 лет, самая любовь, а у них ни денег, ни жилья, ни знакомых в городе. Куда им деться в мороз? Некоторые из них так и женятся, оставаясь в общежитиях. А ты, что ли, не знаешь, что в коммуналках две семьи живут в одной комнате? Это как, тоже групповой секс?»

Когда на методической комиссии преподаватели протестовали против увеличения политических дисциплин за счет научных, тот же И.Б. молчал. Мы, конечно, проиграли и стали упрекать его за молчание, но он сказал: «Студенты перегружены, а на политэкономии они хоть делают английский...»

Однажды В.А. Франк-Каменецкий затащил меня на философский семинар, за посещение которых мы обязаны были отчитываться. На кафедре стоял полуспящий философ и качался из стороны в сторону, иногда всхлипывая и приоткрывая глаза. Откормленные пожилые профессора что-то с умным видом строчили. Я же, как новенькая, попыталась смотреть и слушать. И вдруг поняла, что больше не могу. Сидевшая рядом Мира Рафальсон била меня локтем, но смех полз из меня через все щели, вызывая неприличные звуки. Вскоре я с ужасом услышала, что подобные звуки издает вся аудитория, а безногий громадный Вася Лебедев беззвучно трясется в первом ряду. Председательствующий Франк-Каменецкий исхитрился отвернуть голову от зала, но его большой вздрагивающий живот вызывал новые коллективные приступы истерики. Философ встrepенулcя, огляделся, приосанился и, подумав, продолжал свой бубнеж. По окончании представления публика расходилась, не глядя друг на друга. Разъяренный Франк подошел ко мне: «Вы, что, нарочно?» – «Так ведь смешно!» – «Все! Чтоб вы здесь больше не появлялись!»

Из сходных историй можно было бы составить целый фольклорный сборник, и они ходили по факультету, наверняка достигая наостренных ушей. Но до поры до времени это не проявлялось, тем более, что явление было массовое, даже наш комиссар Барабанов обожал пересказывать подобные новеллы.

Некоторые скажут: какая идиллия! А как же застой? А как же политические репрессии, антисемитизм, КГБ? Все было.

И нас не миновала чаша сия. Но были и
...Любовь, страданье, слезы,
Пронзительные стрелы красоты,
Пушистые ребеночки затылки,
Свободное паренье вольной рифмы
И сладкие нелепые мечты.

Банальное «свобода внутри тебя» – простая констатация факта, главное условие реализации личности. Веня Иофе, после двухлетней отсидки в 60-е годы, говорил, что этот период был самым интересным и важным в его жизни. Когда я лежала на вытяжке с тяжелым переломом в отделении, прозванном «пьяной травмой», где и горшка-то было не добиться, и визитеры обслуживали всю прикованную к постелям палату, у меня в голове крутилось:

«О, Господи, как совершенны
Дела твои, – думал больной...»

Выход из привычного круга, встречи, люди – неоценимый опыт, которого не получишь, сидя над диссертацией.

Жизнь уже готовила нам удары, а мы путешествовали по стране, снимали дачи, ходили за грибами и на лыжах, любили детей и друзей, читали самиздат, а мне аж довелось три месяца читать лекции в университете Сантьяго де Куба, в стране редкостной красоты и убожества.

Тропическая страна Карибского бассейна, которая месяцами живет без Большой Медведицы и много еще без чего, зеленые горы, акулы, крабы, обезьяны, мангро, фламинго, люди всех возможных цветов (видели ли вы помесь негра с рыжим ирландцем?) Страна, где на улице не купишь газировки, а в такси окна с полиэтиленом вместо стекла и пятнами разноцветной грунтовки, где кубинских коллег, сгорая от стыда, приглашают перед отъездом в гостиничные номера, чтобы они могли подобрать остатки мыла, шампуня, сигарет и шмоток, где в городе нельзя поднимать падающие с государственных деревьев фрукты, а в магазинах их нет, да и магазинов нет, раз-

ве что с пудрой для негров, лишь распределители по «тархетам» (талоны, карточки) на задворках. Кондиционированные автобусы для советских специалистов, везущие нас на песчаные и коралловые пляжи, где нам под крики фламинго будут подавать бесплатный дайкири, шикарный отель «Националь» у моря, где разворачивались зловключения «Нашего человека в Гаване», с дореволюционной прислужкой в обветшалых смокингах, раскатистый голос Фиделя – везде – на улицах, в гостиницах, в транспорте: «Травахárrrr! Револусьонárrrr!» – и постоянное чувство стыда, жалости и восхищения. Города, где мы работали – Гавана и Сантьяго де Куба – очень красивы, хоть и требуют ремонта и обновления. Гавана соединяет в себе районы старой испанской архитектуры и современной американской, что видно и по названиям улиц по имени своих прообразов: шикарные Прадо и Пятая Авенида, район Ведадо и квадраты стритов и авеню. У меня в израильском доме висит увеличенная фотография, где я сижу в ярком платье на белом коралловом пляже с маленькой черной девочкой. Мы часто приезжали на пассажирском катере на островок под Сантьяго, где нас встречала стая чернокожих детишек с криками «Карамело! Карамело!», которые показывали нам, где найти громадные розовые раковины и недоступные для акул лагуны для плавания. Там, в мелководье, можно было часами лежать в упругой воде с маской и трубкой и наблюдать за разноцветными рыбами, ежами и страшноватыми черными моллюсками, которые то формировали из себя ногу для передвижения по дну, то высовывали пугающий глаз.

В те годы Куба перегнала Советский Союз на пути к коммунизму, там были запрещены рынки и любая негосударственная торговля. Как-то на пляже мы захотели купить у местного семейства ведро их собственных апельсинов. Они испуганно замахали руками, а после принесли нам их в подарок. Через пять минут мы подарили им сигареты, и все были довольны. Несмотря на тяжелую нужду и нехватки, каждый вечер город танцует прямо на набережных и площадях, народ, стоит только услышать музыку, пританцовывает даже на остановках,

запруженных терпеливым людом. Дореволюционная Куба славилась дорогами, отелями, архитектурой, изобразительным искусством – по большей части абстрактным – и медициной, что в значительной степени сохранялось и при нас. С тех пор прошло полвека, а Фидель все жив, и как там сейчас на Кубе? В масс-медиа лишь страсти по Фиделю, а сама Куба практически отсутствует. Мигель, Пино, Хорхе, *como estas?*

АНТИСЕМИТИЗМ

Про советский антисемитизм послевоенного и постсталинского периода написано множество мемуаров, статей, исследований, концептуальных трудов. Я же буду писать, согласно заглавию, отрывки, личные впечатления, да и то лишь некоторые.

Сталинский антисемитизм был нацелен на геноцид. Но Высший Промысел не мог допустить вторую кару за одно десятилетие. И Сталин умер. После Сталина наступили, по терминологии А. Ахматовой, вегетарианские времена. То же произошло и с антисемитизмом. О многом я уже писала, о другом еще напишу в последующих главах. Специально выделить трудно, поскольку это был наш *modus vivendi*.

В университет евреев старались не брать, но все же брали – юденфрай факультетов не было. Одних брали по блату, другие были «замаскированы», третьих – за громкие заслуги на олимпиадах, четвертых просто так. Чем престижнее факультет и чем больше конкурс, тем легче было отсеять евреев. К нам на геологический евреи почему-то не спешили, да и конкурс был сравнительно невелик, и один раз из-за отсева евреев-абитуриентов даже случился недобор, поэтому их на всякий случай ставили на лист ожидания. На престижных физике и математике евреев-абитуриентов было гораздо больше, но и конкурс выше. В целом получалось «все поровну, все справедливо». Филфак и журналистский лидировали по расовой чи-

стоте, но и там была Лариса Вольперт, чемпионка не помню чего по шахматам. При поступлении евреев сыпали, унижали, обманывали, но все равно на нашей престижной кафедре геохимии 1/6 студентов были евреями. (Кстати, даже при Сталине на моем курсе химфака евреев было не меньше 10%, правда, тогда еще работали школьные «золотые медали».) Да, чтобы евреев изжить, надо было решить этот вопрос окончательно. Но – не получилось.

Пусть неокончательно, но хоть как-то решать этот вопрос было надо, иначе не только во все щели пролезут, но и врага укрепят. В связи с этим был созван университетский семинар по работе со студентами, где доклад делал ректор В.Б. Алесковский в присутствии какого-то райкомовского деятеля. Нашего декана В.А. Мейера «почему-то» не было, хотя он справедливо назывался русским, вместо него был замдекана И.Б., который мне все и рассказал. В.Б. сказал, что нужно серьезно сократить число евреев во всех слоях университетского контингента, поскольку объективно мы куем высокопрофессиональные кадры для наших врагов – Америки и Израиля, укрепляем их боеспособность и научный потенциал, и именно поэтому, а не из-за несуществующего у нас антисемитизма мы должны вести принципиальную кадровую политику, что бы там ни кричали вражеские голоса.

На заседании кафедры Барабанов уточнил: «Вопреки вашему голосованию, мы не будем оставлять В. Шулькина в аспирантуре. Самый сильный? Да я это не хуже вас знаю. Но я, в отличие от вас всех, блюду государственные интересы. Да, Ира К. слабее. Да, Шулькин мог бы дать кафедре больше. Но Ира ни в Израиль, ни в Америку не поедет, а кто поручится за Шулькина? Если уедет, нам мало не покажется. А кафедрой мы все дорожим». Да что Барабанов? Так же рассуждали и многие еврей-завлабы, прикрывая свою задницу.

Как я уже писала, в 1973 году меня командировали на Кубу. Между нашим университетом и Университетом Сантьяго де Куба был договор о сотрудничестве, и в эту группу входила я. У меня в лаборатории даже работал кубинский аспирант, в

руководстве которым я участвовала. Барабанов был доволен, это «приумножало славу» кафедры. Но вот меня вызвали в иностранный отдел и сообщили, что группу наших преподавателей кубинцы приглашают читать лекции и оказать помощь в научной работе, и в список приглашенных была персонально включена я. Я заполнила анкеты и при случае сообщила об этом Барабанову. Неожиданно он пришел в ярость. «Немедленно идите и откажитесь!» – «Но почему?» – «Такую поездку надо заслужить, а у нас есть преподаватели, которые заслужили это больше вас – И.Б., В.В. Саханенок...» – «Но работала с кубинцами я, и они приглашают персонально МЕНЯ!» – «Да уж вы постарались. А теперь идите и сообщите, что вы не едете». – «Я не считаю это возможным. Если вы настаиваете, я могу в последний момент просто не явиться». – «Да вы что! Будут звонки из Москвы, мы всех подведем, пойдут слухи, и нас (его) больше не выпустят!». – «Тогда договоритесь с ними сами, вы там всех знаете в иностранном отделе». Но он не стал этого делать, а поручил И.Б., объяснив, что негоже еврейке ездить в такие поездки раньше русских, жаль, что Г.А. этого сама не понимает. Сам Барабанов занимал в Университете первое место по заграничным поездкам от Японии до Новой Зеландии, и очень гордился этим. Ну и на здоровье! И.Б., тогда уже замдекана, решительно отказался. Барабанов отправился к декану Мейеру, хотя они совсем не дружили, но и Мейер ответил, по сведениям от И.Б., что это дело Барабанова, а никак не его. А слухи все равно пошли, у нас на кафедре была для этого лаборантка, одна из трех партийных, которую Барабанов считал своей клеветкой и нередко делился с ней своими задумками. А она уж распространяла эту информацию на кафедре, в деканате, то есть везде. И я поехала, а когда вернулась, Барабанов устроил мне разнос на заседании кафедры. Я, мол, не явилась к началу занятий и всех подвела. Но не имей сто рублей, а имей хоть одного друга. Мой верный спасатель И.Б. предупредил меня о намерениях шефа и велел не высовываться. А кафедру он берет на себя. Как мне удалось не высовываться, я не знаю, высовывание – моя вторая (если не первая) нату-

ра. Я не высовывалась, и никто не высунулся, даже Саханенок, верные глаза и уши Барабанова. Испугалась, видно. На этом кубинская история заглохла, но заглохло и обещанное Барабановым продвижение на звание полноценного доцента (я занимала должность доцента, но не имела научного звания доцента). «Чего же ты сидишь и молчишь? Ведь он торжествует», – возмущались многие. Ну и фиг с ним. У меня прекрасная работа, а доцент... Не бойся, не надейся, не проси – главная заповедь советского еврея

Кстати. Господин М.А. в своих воспоминаниях «Пепел Класа» написал про времена «застоя»: «Евреев обратили в сословие рабов» (а вы бы не обращались, г. А., никто не неволил), и бедные еврейские рабы, давшие миру величайших тех-то и тех-то, могли (как вы с горечью замечаете) мечтать только о жалкой должности завлаба. Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир завлабов и рабов. А рабов Освенцима не во что было обращать, кроме пепла. Я надеюсь, что это он стучит в ваше сердце, г. А.

Описанные примеры – это проявления государственного антисемитизма в постсталинской России, по крайней мере, в Москве и Ленинграде. Бакинцы, например, утверждают, что в Баку его почти не было. А как насчет бытового, социального? И он, конечно, был и чаще всего наблюдался в бесконечных очередях, переполненном транспорте, ссорах в коммуналках, т. е. там, где так хотелось выместить на ком-то свои невзгоды. Ну и в пивных, проклиная свою долюшку. Я что-то не припоминаю, чтобы евреев не принимали в каком-нибудь доме (разве что в партийной верхушке), не сдавали комнаты на курортах, сторонились в коллективах, не желали у них лечиться и учиться (скорее наоборот), да и количество смешанных браков всегда было высокое. Были, конечно, физиологические антисемиты, но где их нет. У евреев не было чайна-таунов, какой-то своей моды или сленга, как у американских негров, и, хотя популярный курорт Зеленогорск ленинградцы называли Евреегорск, но это больше была констатация определенного социального статуса евреев. Тем не менее, дружеские круги

сохраняли, хоть и не строго, национальные предпочтения. У моих интернациональных родителей был очень широкий круг друзей, где евреев было большинство. Были среди них «гойские» мужья и жены, полукровки и просто ожидавшие *goi*, как их шутливо называли. Вторая папина жена (Евгеша) была русской просемиткой, а ее друзья, в основном, были евреи. В нашем поколении и, тем более, в поколении наших детей компании становились все более еврейскими; антисемитизм сближал и возрождал самосознание. Как тут не усмотреть Божий Промысел: Катастрофа приводит к созданию еврейского государства и собиранию евреев на Земле Израилевой, а вековой антисемитизм, обогатив еврейский народ мировым опытом и просвещением, возвращает его к корням, языку, иудаизму.

Зато, когда с развалом советской власти антисемитизм перестал быть государственной политикой, народы поехали кто куда и возникла многопартийная система, расизм и антисемитизм расцвели почти легально. Сначала родилось общество «Память», такое страшное тогда и такое игрушечное сегодня. Что поделаешь, свобода слова. Дискуссии в Румянцевском садике вспоминаются почти с ностальгией. Теперь же скинхеды и не скинхеды, убивающие в первую очередь негров и кавказцев, не забывают также правозащитников и евреев. Но евреям все же лучше – не так заметны. Зато уж если с пейсами! И будь там наверху хоть Ельцин, хоть Путин, хоть Иванов, родная милиция не даст изничтожить родных фашистов – с ними живет и приятней, и денежней. И в самом деле – и черные, и черножопые, и пархатые куда богаче сержанта милиции, их всегда можно потрепать, да и «свои» подкинут...

МЫ И ОНИ

В первый раз почувствовать ГБ на своей шкуре нам пришлось в семидесятые годы. Мы не были диссидентами, мы просто жили как дышали, а дышали мы, как и большинство

людей нашего круга, жаждой перемен, самиздатом и тамиздатом, отвращением к Советской власти, общением с диссидентскими кругами. В то время за одно это наезжали редко. Надо было в чем-то засветиться. Вот Веня Иофе со товарищи издавали в 60-х годах машинописный журнал «Колокол», или как его называли «Колокольчик», где они проповедовали коммунистические идеи и ругали Советскую власть. Кстати, среди «колокольчиков», был, кажется, лишь один русский – Хахаев. Ну, разумеется, в группу риска входили писатели, нагло издающие на западе клеветнические измышления, а заодно и Бродский, который нигде не печатался, но, несмотря на это, считался в нехороших, в значительной мере еврейских, кругах первым поэтом времени. Кто-то были «двурушниками», как Синявский и Даниэль, а кто-то просто жил не по правилам, как тот же Бродский. (Кстати, многие советские люди так и считали, что Синявского и Даниэля посадили за двурушничество. – А где такая статья? А зачем? – Так мне объяснял вполне грамотный сотрудник моей лаборатории Б.Р.)

Мы тоже жили не по правилам – дружили не с теми, обменивались нехорошими, а то и запрещенными книгами, ходили на суды над Бродским, а некоторые даже громко харкали во время оглашения приговора. А уж клеветали, где только можно: в квартирах, на общих дачах и даже на работах. При этом многие из нас имели секретность, другие были все теми же жалкими завлабами в прикладных институтах (например, Алек и наш близкий друг Евсей Вигдорчик, оба, увы, уже благословенной памяти). Ни в партийных, ни в рабов никто нас не обратил и не обращал. Родительская закрытость в политических вопросах в нашем детстве была обидна и несправедлива, мы не хотели такого для наших детей, и дети с раннего детства слушали наши дискуссии и набирались ума. Наши дети Дима и Маша так и не вступили в комсомол. Мой братик Боря, галахический русский, при получении паспорта записался евреем. Конечно, вегетарианские времена были куда менее опасными, и хвалиться тут нечем. Даже мой старый большевик папа перековался, не отчуждал маленького Боря от политических

разговоров и называл своих соседей по «старболке» (комфортабельный летний пансионат для старых большевиков) старыми идиотами. (Надо сказать, там была своеобразная публика, по большей части выжившие в советских лагерях большевички, обсуждавшие, кто хуже: Бухарин или Троцкий, и обзывающие оппонентов «Самая настоящая эсерка!» Их освободили, реабилитировали и худо-бедно дали компенсации и льготы, но все равно при Сталине было лучше, а тепе-ерь...) Пятнадцатилетний Дима, ярый антисоветчик, чуть с ума нас не свел во времена вторжения в Чехословакию. Каждый вечер с темнотой он надевал ватник, брал мою старую сумку и уходил. Сперва мы думали – на свидание, но какое к черту свидание в ватнике? И зачем ему сумка? Однажды он вернулся сияющий, и мы устроили ему допрос. Он гордо молчал, а когда уж очень пристали, сказал: «Я знаю, что вы бы меня одобрили». – «Ты писал «Руки прочь от Чехословакии?»» – догадалась я, – «Откуда ты знаешь?» И он раскололся: он, Боря и Лена Варшавская разработали технологию, необходимую для написания этого лозунга на стене Диминой школы, и меры раннего оповещения. 9-я Советская улица, и днем-то не людная, ночью была пуста. Боря с Леной караулили на другой стороне, а Дима работал зеленой масляной краской, стараясь сделать надпись покрупнее и пожирнее. «Где краска? – возопил Алек. – «В сумке». И правда, в испачканной краской сумке лежала банка и кисть. Мы вышли на лестницу и увидели, что капли зеленой краски аккуратно ведут к нашей двери. Остаток ночи мы провели в оттирании краски растворителем, а рано утром Алек взял корзину и отправился «за грибами». Найдя на знаменитой Дороге жизни лес погуще, он углубился в него и спрятал сумку в плотных зарослях. Сумка была синтетическая, и, возможно, стоит там до сих пор. Надпись продержалась день, и мы ходили ею любоваться. Никакой суестьи около нее не наблюдалось, и ближайшей ночью ее смыли, но следы долго были читаемы. Дима на этом не успокоился, говорил «вы мне не можете запретить» и хотел писать снова, но мы его как-то убедили, и детки переключились на листовки. Алек с Евсеем разработали инсценировку,

по которой их деятельностью якобы заинтересовались органы, и Димино гражданское чувство сублимировалось в подборке всевозможной информации о положении в Чехословакии и в изучении чешского языка. И то, и другое он делал с присущей ему основательностью.

Первый гром грянул после самолетного дела, когда активизировалось еврейское движение за выезд и интерес к ивриту, иудаизму и государству Израиль. Алек заведовал тогда вычислительным центром в институте Гипроникель, в котором работал все время по возвращении из Рошала. В его состав входила лаборатория математического моделирования, возглавляемая его коллегой и нашим близким другом Евсеем Вигдорчиком. Оба образования были созданы по их инициативе и под их руководством. Нужны были специалисты – математики, программисты, физики и пр. В условиях бурно развивающейся отрасли это были дефицитные специалисты, которые вовсе не стремились попасть в прикладной институт. Заручившись поддержкой директора Гипроникеля Шереметьева (по слухам, графа), Алек и Евсей отправились на матмех, где происходило распределение выпускников. Поскольку даже сильным выпускникам-евреям не светили академические институты и университеты, они охотно соглашались на Гипроникель. Вот так получилось, что вычислительный центр стал в значительной степени еврейским, а уж куда глядели советские евреи семидесятых, и ежу понятно. Первым засветился Боря Абрамзон, который стал посещать сионистское образование под названием *ульпан*, в то время обозначающее нечто криминальное, примерно, как Гитлерюгенд. Там учили иврит и преподавали еврейскую историю, знакомили с культурой и религией...

«По дороге» произошла трагикомическая история, которыми почему-то была богата наша жизнь. В Вычислительном центре работал парень из глубинки по имени Веня Безверхний. Когда началась еврейская (точнее, антиеврейская) истерия, Веня растерялся. Евреи предавали Родину, учась в *ульпане* и уезжая во вражеские государства, а Веня даже не знал, как

они выглядят. Поэтому он пришел к Алеку, которого безмерно уважал, чтобы тот объяснил ему, кто они и как их распознавать. Алек с Евсеем популярно ему объяснили и сообщили, что они сами евреи, а также Энтин, Вассерман и пр. Бедный Веня не поверил и спросил, откуда это известно. Алек показал ему паспорт, и Веня прочел: ЕВРЕЙ. «Но вы же все очень хорошие люди, я счастлив у вас работать». – «Мы и есть хорошие люди, а узнать нас часто можно по внешности и именам». Веня задумался. Вскоре он сказал Алеку, что жена его, видимо, еврейка. «С чего ты взял?» – «Уж больно черная. Но признаваться не хочет». Алек уверил его, что цвет волос ничего не значит. – «Но тогда как? Может, и я еврей?». Тут Алека дернул черт рассказать ему про обрезание. Веня на какое-то время затих, но летом на сельхозработах сделал себе обрезание серпом, попав после этого в травматологию и далее в психушку. Потом бедняге дали прозвище – Бескрайний. По мне так в этой истории слышится «подземный гул миров и лон».

Дальше – больше. Первая серьезная проработка началась по поводу доклада на научной конференции, сделанного Б. Абрамзоном. Как посмели предоставить кафедру сионисту Абрамзону? Где воспитательная работа? Куда смотрит руководство Центра? Руководство не знало, куда смотреть. Тут отъезжанты-евреи, которые за годы совместной работы стали друзьями, там партком и руководство, еще вчера бывшие лояльными, а теперь превратившиеся в тварей дрожащих. На хвосте ГБ, вызывавшее на собеседование русских коллег и поручавшее им внимательно следить за происходящим в ВЦ. Ведь через ЭВМ, говорили сверхграмотные гэбисты, можно пересылать какую угодно информацию. И ведь как в воду глядели предсказатели интернета! А наши безграмотные программисты и математики натужно смеялись – чего, мол, только не выдумают эти безмозглые специалисты по промыванию мозгов. Доносов, однако, чекисты, насколько я знаю, не дождались. Один из сотрудников, с которым мы часто ездили за грибами, объяснил, что он воспитывался в детском доме, а там за такие вещи и убить могли.

По мере получения разрешений на выезд ручеек отъезжантов из ВЦ превращался в реку. Надо было хватать момент, в любое время все могли прекратить. (Так и вышло: дочка Маша и ее семья, жившие в Москве, все ждали момента, пока Лева окончит университет, волнуясь при этом: а как же родители, а как же любимая баба Рая... Когда же в 79-м году подали, просидели в отказе восемь лет). В этой ситуации в ВЦ пришла пора оргвыводов. Незадолго до того папины высокопоставленные знакомцы в Гипроникеле информировали его, что Алека ждут большие неприятности. Мы не сомневались, что ни его, ни Евсея начальниками и не оставят, но папа со слов своих осведомителей сказал, что этим дело не ограничится. Мы отмахнулись – что, кроме плохой воспитательной работы, можно ему инкриминировать? Все же по закону. И мы пообещали друг другу, что инфаркта мы им не подарим. Алек не сообщил мне о дне судилища, а придя после него домой, все жался да кряхтел, а потом решил: «Я должен огорчить тебя, моя бедная киска. Меня и Евсея понизили до старших инженеров (на этой должности даже не выплачивалась добавка за ученую степень), причем Евсея оставили в лаборатории, а меня перевели с Гражданки (расположение научной части) на Невский в оформительский отдел с ограниченным использованием Вычислительным центром. И новый начальник уже назначен, некто Шевченко, полный невежда. Все стонут». Еще бы не стонать. Весь центр построен с нуля руками коллектива! Смешали с говном любимого начальника! Впрочем, не смешали. К некоторым говно не липнет, к Алечке особенно. Я сказала: «Помни – обойдемся без инфаркта. Меня как раз перевели на и. о. доцента, и я продлила свой научный договор на два года». Алечка прослезился, обнял меня и сказал: «Ты настоящая боевая подруга. С тобой можно идти в разведку». Алек осторожно рассказал обо всем родителям. На следующий день мне позвонила Нина Моисеевна – моя любимая (sic!) свекровь – и сказала: «Я рада, что Алек перешел на хорошую работу». – «Вы шутите?» – «Почему шучу? На Невском, а не на окраине, близко от дома и от нас, в теплом помещении. Он сказал, что

будет меньше загружен и не будет мотаться по командировкам». Я была в шоке. И это говорит Баба Нина, обожающая единственного сына, с расстояния замечающая в нем признаки малейшего неблагополучия, будь то простуда или четверка на экзамене! Лишь позже я поняла, что у умных и интеллигентных Шейниных были другие жизненные приоритеты, не хуже и не лучше наших. Оба вышли на пенсию на следующий день после достижения пенсионного возраста и зажили жизнью, о которой всегда мечтали и которую любили. Они жили в прекрасном культурном городе, в самом его центре, рядом были лучшие в городе магазины – Елисеевский, Соловьевский, Пассаж, Гостиный двор, знаменитый Кузнечный рынок, лучшие театры и музеи, а теперь еще и сын работает в знаменитом доме Энгельгардта рядом с Консерваторией с видом на Казанский Собор и канал Грибоедова (любуйся – не хочу). У них была прекрасная квартира – точнее, одна большая светлая комната с балконом, уютная и теплая. Квартира после гражданской войны принадлежала Нининым родителям, но теперь в остальных пяти комнатах жили соседи. В уборную надо было ходить по длинному коридору со ступеньками, а ванная была выгорожена в громадной кухне с шестью кухонными столами. В доме раньше размещались дешевые меблированные комнаты для свиданий, и стены, по уверению бабы Нины, были толстыми и звуконепроницаемыми. Опять хорошо. Шейнинский дом был теплым и гостеприимным. Туда тянулись многочисленные родственники и друзья. Там обсуждались животрепещущие проблемы, вкусно кормили и дважды в неделю играли в преферанс с угощением. Летом три месяца жили в Усть-Нарве, и там образ жизни пополнялся морским воздухом, пляжем, клубникой с грядки, судаками и миногами из залива. Разве плохо? Почему надо обязательно быть творческой личностью и стремиться к достижениям и победам?

...Чтоб не уйти из жизни без следа?
След, видишь ли... Какая ерунда!
Я знай иду себе своей дорогой,

Единственной, наверное, счастливой,
А годы как приливы и отливы –
Прибудет что-то, кое-что уйдет.
А след... Давай его оставим Богу,
Глядишь – и нам чуть-чуть перепадет.

И Нине перепало. Любовь близких, жизнь без зависти и унижений, замечательный сын, любящий и верный муж... Чего же боле?

Зависть и унижение... На днях меня поздравила с Новым годом старинная подруга. Даже больше, чем подруга. Наши родители дружили всю жизнь. Были совместные дачи, общее детство, встречи. Хотя мы живем в разных странах, мы и сейчас не теряем контакт. Обсуждали жизнь, вспоминали, и вдруг она мне сообщила, что всю жизнь мне завидовала и даже перечислила объекты зависти. «Ты серьезно?» – спросила я. «Конечно», – сказала она. Сказала ничтоже сумняшеся, как будто это и не смертный грех. «А теперь?» – спросила я. «А что теперь? Ты вот не пахала – не сеяла, а смотри какие плоды пожала (это про моих детей и внуков. А она, значит, пахала и сеяла.) А у меня никакого контакта с моими». (Перепахала, наверное.) Я подумала, может, это потому, что мы никому не завидовали. Спасибо нашим родителям. Зависть калечит.

Унижение нас не спрашивает. Нас унижают, и все. И можно сто раз повторять себе, что инфаркта они от нас не дождутся, но от унижений больше инфарктов, чем даже от потери близких. Как ни показывай, что унижение к тебе не липнет, все равно оно сжирает твои кишки, забивает сосуды, ломает хребет. И только не повторяйте за классиком, что жалость унижает человека – человека унижает человек. И тут уже не до кишок и сосудов – не дай сломаться хребту. Да еще при этом постарайся не лезть на рожон. Папе это удалось во время тяжелых испытаний. Первое главное унижение мама тоже выдержала героически: ходила по большому начальству и писала им письма. В письмах были отмазки – слово невиновность превратилось в некоторые недоказанные обвинения, но ни мольб, ни слез, ни

ссылок на малолетнюю дочь. Визиты к следователям и прокурорам обычно сопровождалась сожалениями, что такая умная и красивая женщина тратит жизнь на преступника, в то время как кругом полно достойных мужчин. Нередко предлагалась бумажка с телефоном, которую мама «забывала». Второму страшному унижению маму подверг самый дорогой человек. Притом хороший человек. Мама сломалась сразу. Я не хочу описывать унижительные душераздирающие сцены и письма. Я их видела и читала. Это была другая мама. И совсем другой папа.

Это все присказка, а сказка будет впереди, но в заключение присказки расскажу о своем первом трагикомическом унижении. Мне было лет 14–15, и я была хорошая девочка, хотя и чересчур бойкая. Девочки и мальчики тогда учились отдельно, но совместные мероприятия поощрялись. Кружки, семинары, соревнования, танцевальные вечера. Я, конечно, была записана во многие кружки, от драматического до исторического, и успешно участвовала в разнообразных олимпиадах. А то и в Публичку пойдешь, сидишь себе чин-чинарем и академика Тарле читаешь. И все кругом уважают. И вот я пошла в соседнюю мужскую школу на литературный семинар. У входа в зал меня встречает ихняя завучиха с распростертыми руками и, загораживая дверь, говорит: «А тебе, девочка, сюда нельзя». «Почему? Я член семинара. Я всегда сюда хожу». «А вот теперь не будешь», – говорит она со всем своим удовольствием. Тут моя подруга Тамарка пробегает в зал и приводит нашего руководителя поэта С. «Пойдемте, Галя», – говорит С. и ведет меня к собравшимся кружковцам. Я уже чувствую себя в изрядном дерьме, а тут еще мои сотоварищи оглядываются на меня и хихикают. Ко мне подсаживается Тамарка и, заливаясь смехом, сообщает горячую новость: здешний педсовет объявил меня персоной нон грата, так как я была замечена в их школьном дворе в обществе аж тринадцати ихних мальчишек. «А двенадцать можно?» – пытаюсь я сохранить мину. И минут через десять ухожу. Мне очень плохо. По дороге складывается стихотворение:

Это та обида, от которой
Хочется кричать и грызть ладони,
Хочется слезами захлебнуться
В тесноте искусанных подушек,
Хочется забыть и все припомнить,
Вспомнить все и начисто забыть.
Это та обида, от которой
Хочется простой звериной мести,
Чтоб хрустело под зубами мясо,
Чтобы терпко пахло свежей кровью,
Чтобы петь и танцевать привольно,
Опьянев от торжества расплаты,
Досыта обиду утолив.
Это та обида, от которой
Очень хочется суметь сдержаться,
Улыбнуться и не обратить
На нее на злую на обиду
Своего бесценного вниманья,
Будто бы и не было обиды,
От которой хочется кричать
И ладони грызть.

Во как!

Алек справлялся со своей унижительной ссылкой с редким достоинством. Сидеть в отделе, где печатают, копируют, переплетают и занимаются прочей мутой, по мнению многих, невыносимо.

Из оставшихся в памяти отрывков я представляю, как он мается от безделья, потихоньку доделывая недописанную работу, незаконченные программы, как он дает консультации своим бывшим сотрудникам, приехавшим через полгорода из ВЦ в проектную часть (место Алековой отсидки), как они обсуждают свои проблемы, подпирая стены в курилках и туалетах, как многие знакомцы стараются не разговаривать, а то и не глядеть при встрече с ним. В отделе относятся хорошо, но тоже не знают, что делать с этим человеком, известным всем

в институте своей интеллигентностью, своими широкими знаниями, своим профессионализмом, своими человеческими качествами. Да еще и кандидатом наук, что для этого уважаемого отдела совсем из ряда вон. Кое-какие занятия находятся в связи с наличием у него автомобиля, в частности, он доставляет отделу так называемые продуктовые заказы. Его покойный начальник, партийный еврей, краснеет и извиняется, а Алеку эти поездки подсказывают способ дополнительного заработка, весьма распространенного в России по сей день – частный извоз. Постепенно и в этом он становится профессионалом, встречается и беседует с разнообразным людом, да и зарабатывает не меньше, чем на «основной» работе. Со временем он с увлечением делает программы для сметного отдела, проводит семинары для пользователей и получает законное право ездить в ВЦ. Это раздражает партийное начальство, оно поручает редким партийцам из ВЦ следить и докладывать и регламентировать появления А.Б. Шейнина в его родном гнезде.

Через несколько лет мы окажемся вместе с нашими друзьями в центре дела Друскина, но нам, да не обидятся друзья, придется круче, поскольку Алек – рецидивист, а я работаю в чересчур престижном месте – университете им. А.А. Жданова, да еще преподаю, то есть развращаю молодежь.

Дело нашего близкого друга ленинградского поэта Льва Друскина подробно описано в его книге. Об удивительном человеке, ныне покойном Льве Друскине, писано немало. А сейчас я напишу о втором наезде ГБ на Алечку в связи с этим делом. Редкую неделю мы не ездили к Друскиным пообщаться, помочь (Лева и Лиля Друскины были инвалидами), послушать и почитать стихи, погулять с псом Геком, выпить и закусить с друзьями, которых было множество. Зимой мы ездили с Геком на выходные на их дачу, а летом на даче жили сами Друскины, а мы и другие гости проводили там много времени. Лева тогда взялся писать книгу о своей жизни, которую уже при издании в эмиграции назвал «Спасенная книга». Книга, конечно, была «клеветническая», а Лева читал и обсуждал ее с широким кругом людей, среди которых, ясное дело, были стукачи. Главным

«спасателем» книги был Алек. Когда как-то около полуночи к Друскиным нагрянули с обыском, Алек был у них дома и чинил Левину инвалидную коляску. Рукопись плохой книги лежала себе на широком подоконнике среди разного барахла, и это оказалось единственным местом, куда не заглянули бдительные чекисты. После их ухода Алек положил рукопись в портфель, привез среди ночи в коммунальную квартиру своей матери и запихал на антресоли. Вот и вся конспирация. Разумеется, Друскины были у органов «в разработке», и наше участие в распространении самиздата и тамиздата было им хорошо известно. К тому же Алек использовал личное средство передвижения для развоза по разным домам («явкам») многочисленных друскинских гостей-иностранцев и зловердных книг. Одним из первых актов мести был угон нашей машины, которая потом была найдена где-то на Синявинских болотах без колес и прочего. Когда Алек привел ее в порядок, в одну из замечательных белых ночей на бедную машину, стоящую у нашего дома на тротуаре, наехал и скрылся красный «москвич». Алек все сомневался, что это дело рук КГБ, но это были их типичные приемы вегетарианского периода, а я, вслед за В. Войновичем, согласна признавать за ними презумпцию невиновности только в суде.

А в Гипроникеле началась повторная охота. Я не помню всего, что было, поэтому расскажу о запомнившихся событиях, не ручаясь за их последовательность.

Сразу после обыска у Друскиных начались допросы свидетелей, то есть друзей и знакомых. Большую часть свидетелей допрашивал режиссер друскинского дела майор КГБ Павел Костантинович Коршунов, в жизни Павел Николаевич Кошелев (в самом деле, героическому чекисту куда больше импонирует коршун, чем кошель). Он был в Питере куратором ГБ по культуре, то есть обслуживал все творческие союзы. Алек, важный фигурант этого дела, все время обижался: «Почему это вас допросили, а меня нет? Разве я не главнее всех?» Наконец, встреча состоялась. П.К. подтвердил высокий статус Алека, встретив его радостным приветствием, назвав самым верным,

самым преданным другом Льва Савельевича, который не оставит его до конца. (До какого конца? – гадали мы.)

Алек рассказывал, что все было очень долго и корректно. Я запомнила два эпизода. Расспрашивая про всех знакомых, П.К. назвал Фиму (Эткинда). Алек сперва даже не понял, а когда понял, возмутился и воскликнул: «Какого Фиму?! Он вам не Фима, а Ефим Григорьевич Эткинд, знаменитый литературовед и переводчик». П.К. явно разозлился. Когда П.К. выражал свое уважение к Алеку и уже допрошенной (его шестерками) Галине Адольфовне и сожалел, что ему лично не удалось со мной встретиться, Алек мрачно сказал: «Да, а с работы выгонять со всем уважением будете вы». П.К. искренне возмутился: «Да что вы, мы только информируем, а ваше начальство само решает, как поступить». Это точно. Начальство и без инструкций знало что делать. Тот же корректный П.К. уже при перестройке, баллотировавшись на пост председателя райисполкома, не побрезгует грязными угрозами и жестокими избиениями своих бывших «подопечных», чтобы не болтали в прессе.

Алека какое-то время не трогали. И в самом деле, что можно сделать с кандидатом наук, ветераном труда, занимающим пост старшего инженера без группы в самом занюханном отделе? Вокруг меня в Университете уже сгущались тучи, а Алек все повторял: «Мне хорошо, я сирота». Но недолго мучилась сиротка. Алека не выгоняли, просто расформировали отдел, а начальника с почетом отправили на пенсию. А что делать с Алеком с его тридцатилетним стажем, с его профессиональной и человеческой репутацией, с многочисленными статьями и монографиями, с благодарностями и поощрительными премиями в личном деле? Как бы не сказали: «Куда глядели, товарищи?»

Но вот Алек в кабинете у директора. А директор новый, серый лапоть из Норильска, не граф, как его предшественник. Он не мечет привычные громы и молнии с матерком, а выражает сочувствие: «Я понимаю – дружба, я понимаю – вы сострадали, но что же мне с вами делать?» – «А вы переведите меня в сметный отдел, я давно с ними сотрудничаю». Директор тут же звонит начальнику отдела Вайнблату, и тот с ходу подтверж-

дает, что будет только рад взять такого сотрудника, как Александр Борисович. Директор опешил и стал разводить туры на колесах, жалуясь на жизнь, несправедливость, на жалкое существование, при котором, верите ли, коньяк купить не на что. Но обещал подумать. На следующую встречу Алек пришел с дорогим коньяком. Директор обрадовался: «Вот и хорошо! Мы как раз отметим ваше новое назначение!»

Это был 81-й год, а примерно через год бедный лапоть сам вылетел с работы за то, что после какого-то праздника бегал в расхристанном виде по коридору, охотясь за женщинами, и в маловменяемом состоянии был удален из стен своего института. Алек доработал в ГИПРОНИКЕЛе до отъезда в Израиль, где мы пытались лечить его от смертельной болезни. Там он и упокоился на Масличной Горе. Об этом см. «Уход».

О периоде ГБ-шных наездов Алек написал замечательный текст.

О ТРУСАХ

Замечательный пример – NN, давний коллега и хороший приятель. В это трудно поверить, но факт: он боялся здороваться со мной, когда несколько человек из ВЦ уехали за рубеж! На свете нет большего труса, чем NN, – если, конечно, не считать Мосина, тогдашнего начальника ВЦ; случай Мосина – уникальный...

Scripta manent! Если бы я в свое время не записал свой разговор с Мосиным, многие детали были бы безнадежно забыты.

Но вот – машинописный текст. Итак, изложение разговора с Е.Ф. Мосиным 1.10.82 настолько точное, насколько возможно при отсутствии магнитофонной записи.

Я (входя): Евгений Федорович, Вы можете уделить мне несколько минут?

М.: Садитесь, пожалуйста, Александр Борисович.

Я (сняв плащ и сев): Евгений Федорович, мне стало известно, что Вы обратились к некоторым Вашим сотрудникам с рекомендацией не контактировать с Шейниным. Мне бы хотелось знать, на каком основании Вы это сделали.

М.: Не контактировать? Ну, нет, так не было сказано.

Я: В таком случае расскажите мне, что именно было сказано.

М.: Ну, мне не хотелось бы... Я ведь не по своей инициативе.

Я: А по чьей?

М.: Я не могу Вам этого сказать. Мне очень неприятно... Я не хотел бы ввязываться в это дело.

Я: Но Вы уже ввязались. А если Вы скажете мне, чьи указания Вы выполняли, то я пойду к этому человеку, а Вас оставлю в покое.

М.: Нет, Александр Борисович, я не могу Вам этого сказать. Мне за это попадет.

Я: В таком случае послушайте, что я Вам скажу.

Первое. Рекомендации, которые Вы дали Вашим сотрудникам, оскорбительны и для меня, и для этих сотрудников. Я не понимаю, как Вам было не стыдно. Если Вы получили такое указание от начальства, то это Вас не оправдывает. Разрешите мне напомнить Вам Ваши же слова, сказанные, правда, по другому поводу: «Если во всем слушаться начальства, то далеко не уедешь». Разрешите мне также рассказать Вам один случай. Следуя Вашему примеру, я не буду называть фамилий. Однажды директор нашего института сказал одному начальнику лаборатории: «Посоветуйте такому-то, чтобы он не контактировал с таким-то». Начальник лаборатории ответил директору: «А Вы не думаете, что он может послать меня на...?»

Второе. Я действительно контактирую с Вашими сотрудниками. Стоит мне появиться на втором этаже, как и Незлобина, и Мельникова, и эта третья программистка, фамилии которой я не знаю...

М. (поспешно): Шоршер, Сусанна Анатольевна.

Я: ...обращаются ко мне с вопросами, просят помочь, найти ошибку в программе, спрашивают совета. Я охотно отвечаю им. Полагаю, что от этих контактов не происходит ничего, кроме пользы. Общаюсь я и с Зеленским, и с Энтиным. Думаю, что и эти контакты полезны – как мне, так и им.

Третье. Я чувствую, что кому-то мои посещения Вашего отдела очень не по душе. (Мосин радостно кивает.) Я прошу Вас передать этим лицам, а также принять к собственному сведению, что с того момента, когда в сметном отделе будет установлен дисплей, моей ноги в Вашем отделе не будет. Может быть, это сообщение в какой-то мере успокоит и их, и Вас.

М.: Александр Борисович, но Вы же не думаете, что Ваши посещения неприятны мне лично...

Я: Убежден, что если мои поездки сюда прекратятся, то Вам лично станет значительно спокойнее.

М. (потупив взор и изобразив горькую усмешку): Пожалуй, Вы правы.

Я: Ну вот. У меня все.

М. (с неожиданной живостью): Я надеюсь, что Вы упрекаете меня только в трусости?

Я: Ну, это вопрос сложный и мало подходит для обсуждения за служебным столом. Существуют ситуации, когда трусость переходит определенную грань и становится подлостью.

М. (взволнованно): Но ведь я не перешел эту грань?

Я (резко): Не знаю. Я уже сказал, что этот вопрос не подходит для обсуждения за рабочим столом. (Встав, чтобы уйти.) Во всяком случае, не советую Вам успокаивать свою совесть мыслью, что трусость – единственный Ваш недостаток. Во-первых, неизвестно, единственный ли. Во-вторых, даже если единственный, то – отнюдь не маленький. Из-за него Вы потеряли Фаянса.

М. (в возбуждении): Фаянса! Но ведь я ходил к директору насчет Фаянса. Что еще мог я сделать? Между прочим, только я один и ходил. Никто из людей, пятнадцать лет работавших с Фаянсом бок о бок, не пошел к директору просить за Фаянса.

Я: Кто же должен был пойти? Я, что ли?

М.: Нет, не Вы. Но, скажем, автоклавищики. Фаянс столько для них сделал.

Я: Не могу с Вами согласиться. Начальник отдела – единственный человек, который может отстоять своего сотрудника. Если он этого не сделает, то никто другой не сделает этого и подавно.

М.: Но я же ходил к директору!

Я: Значит, плохо ходили. Что-то в Ваших словах или интонациях было недостаточно убедительно. Знаете, сколько раз ходил к директору Вайсбурд, отстаивая Кипниса?

М.: Ну что Вы сравниваете – меня и Вайсбурда! Вайсбурд, с его стажем, с его авторитетом...

Я (несколько разозлившись): Бросьте. Ваше положение в подобных ситуациях значительно лучше, чем положение Вайсбурда.

М.: Но почему Вы так говорите? У меня перед Вайсбурдом только одно преимущество.

Я (мрачно): Два.

М. (упавшим голосом): Ну, два.

Я: До свиданья. Спасибо за беседу.

М.: До свиданья, Александр Борисович.

* * *

Сегодня, спустя 13 лет, конец этого диалога уже трудно понять. О каком преимуществе говорил Мосин? Он – коммунист, а Вайсбурд – беспартийный. Это серьезное преимущество. Ну, а о каком втором преимуществе говорил я? Вайсбурд – еврей, а Мосин – русский. И Мосин прекрасно меня понял.

К машинописному тексту с записью этого разговора приколот еще один листок. На нем моей рукой написано:

Понтий Пилат казнил Иешуа Га-Ноцри из трусости. У Булгакова это сказано очень ясно. Сначала – сон Пилата:

«Свободного времени было столько, сколько надобно, а гроза будет только к вечеру, и трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Га-Ноцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок».

И позже, когда к Пилату пришел Левий Матвей с пергаментом:

«Тут Пилат вздрогнул. В последних строчках пергамента он разобрал слова: «нет большего порока... трусость...»

Вскоре времена изменились. Начался массовый падеж геронтократии по естественным причинам. Когда умер Брежнев, мне позвонил отец моего ученика, симпатичный профессор марксизма в Высшей партийной школе, и закричал: «Г.А.! А что я вам скажу-у-у... Брежнев умер!» Вот веселья-то было! Одна только школьница Лиза Комарова, дочь моей подруги Иры, возмущалась: «Все радуются! А мне его жалко. Он был такой бедненький! Говорил плохо, ходил плохо, и все над ним смеялись». Брежнева сменил другой полутруп Черненко, а после его скорой кончины Андропов. Он был сравнительно нестар, но сидел на постоянном диализе почки. Долго, впрочем, не просидел – присоединился к предшественникам. Что их так всех тянуло на это Богом проклятое место? А потом пришел молодой гоголек (53 года). Мы замерли – у этого получится гайки закрутить. Но Горбачев гайки стал крутить в обратную сторону. И повело – поехало. Несчастная разоренная империя, чудом сохранявшая квазиустойчивое состояние на краю пропасти, точно названное потом застоем, стала разваливаться. Главным триггером оказалась «гласность», потом довольно страшное «ускорение»: денежная реформа, кооперативное движение (это когда все вокруг мое), массовые заграничные поездки, загадочные отношения рубля с долларом, инфляция, мгновенно превратившая всех в миллионеров, и всеобщий дефицит, сильно напоминавший голод. Республики и даже области разбегались с разновеликой скоростью, что быстро привело к тому, что ранее привилегированные мегаполисы оказались самыми уязвимыми. Живописное было зрелище: на полках мясного магазина лежали лишь автомобильные покрышки и консервы из морской капусты, а к черному ходу прокрадывались счастливчики и выносили свиную тушенку из жира. По учреждениям развозили неликвидные промтовары, которые в условиях дефицита

и многократной инфляции мигом расхватывались, и у меня в шкафу еще долго валялась зелено-малиновая куртка неподходящего размера. В 1987 году дочка Маня с мужемлевой и тремя детьми после многолетнего «отказа» уехали в Израиль. Это случилось после и, можно сказать, в результате трагической смерти Левиной мамы Инны Ильиничны Китросской. Тяжело больная раком, она тоже была многолетним отказником, но, благодаря хлопотам аж самого кандидата в американские президенты Харта, уехала на лечение в Соединенные Штаты. Она умерла в Америке через несколько недель, и Леву, удивительным образом, отпустили на ее похороны, ну а потом – ничего уж ни поделаешь – и он, и его семья стали «выездными», ну и валите поскорей в свой Израиль, не задерживайтесь. Мы прощались навсегда, но через год я уже смогла приехать к ним в гости. Забавно, что когда я пришла в районный ОВИР с заявлением о выездной (sic!) визе в Израиль, я услышала: «Как в Израиль? У нас даже дипломатических отношений с ним нет». – «А что, без отношений нельзя?» – «Теоретически можно...» Очаровательная Людмила Карловна, чиновница ГБ, посмотрела на меня, махнула рукой и воскликнула: «Эх! Была – не была! Давайте попробуем!» Через месяц раздался звонок: «Г.А.! Вы получили разрешение!! Я вас поздравляю-я-яю!» Ну и дела! А я-то собиралась организовать группу борьбы за выезд в гости в Израиль.

Если Алек законно занимал первое место среди фигурантов по делу Друскина, то второе место завоевала я. Для меня началось все с черного анекдота. Сразу после празднования нового 1981 года у Друскиных мы с Лилькой Друскиной сломали по ноге. Она – 2.01, я – 4.01. Она – бедро, а я – обе кости голени. Я пошла к ней в больницу, и то, что я там увидела, вызвало у меня жалость и ярость. Лиля, загипсованная до паха, лежала мокрая (если не хуже) и плачущая, звонок был недостижим, мокрый гипс натирал, а рядом на стуле стояло столь же недоступное судно. Нянечку было не найти. Сестра сообщила, что она делает стерильную работу, и ей не положено. Сама я не в силах была обслужить грузную Лильку с десятикилограммовым

гипсом. Пришлось искать врача. Он обматерил персонал и прислал двоих, посоветовав платить им. Я шла обратно в слезах и гнев. Было нечто среднее между оттепелью и заморозком, и у самого Мариинского дворца я поскользнулась на наледи и упала, с треском сломав ногу. Нога сложилась в голени, как книга. (Как сладко писать эти слова: оттепель, заморозок, наледь, Мариинский дворец.) Какой-то мужчина подставил мне под перелом свой твердый ботинок, побежали вызывать скорую, звонить домой. У нас в это время жили наши отказники Маня с Левоу. Маня по телефону ответила: «Вы перепутали, это ее подруга сломала ногу». Я прождала скорую 40 минут, а недоверчивые родственнички так на место происшествия и не приехали. В больнице тоже было нескучно. Я попала в «пьяную» травму, а там обращение крутое. Я лежу, между прочим, в песцовых шубе и шапке, из-под которой, можно сказать, выбивается золотая прядь, и стону от боли и тошноты, а мне говорят: «Тошнит, так рви, и не шуми, а то отправим тебя в психиатрию». Отправить не на чем, и врач кричит сестре: возьми труповозку. Позже, уже в отделении в коридоре я лежу на вытяжке с задранной кверху ногой в обнимку с судном на случай рвоты. Собираются родственники. Я под морфием, но отчетливо помню, как Алек, припав ко мне, рыдает, а Дима показывает на меня пальцем и не может сдержать смеха, увлекая других и даже меня.

Так мы с Лилей дожили до апреля, она лежала, а я сидя в кресле или ковыляя на костылях десятикилограммовой ногой вперед. А в апреле в наши дома пришли гэбэшники, переломив нам жизни на две части. Ко мне явились после обыска у Друскиных на следующее утро. Я стояла (за невозможностью сидеть) у письменного стола и как раз разбирала кучу сам- и тамиздата. Звонок, и Лева сказал (дети Китросские жили тогда у нас): «Г.А., к вам пришли». Вошли молодые люди, которых я могла бы принять за студентов, если бы не хорошие костюмы. Я спросила: «А разве я вам назначала?» Они показали мне красные книжки, и я сказала: «Посидите, пока я доберусь до кресла», сложила без торопехи все тексты в стол, а сверху

положила прозрачные папки с лекциями, «Попросите сына выйти, разговор конфиденциальный». – «Лева, выйди, но далеко не уходи. Мало ли что мне понадобится». И Лева уселся за дверью и часа три глядел, оттопырив зад, в замочную скважину. «Вы знаете, по какому поводу мы пришли?» – спросили ОНИ. – «Догадываюсь». – «Не волнуйтесь и помогите нам». – «У вас есть ордер на допрос? Я в чем-то подозреваюсь?» – «Какой ордер?», – изумились они. «Это же не допрос, разве мы не можем поговорить как советские люди?» – «Не можем, пока вы не объясните о чем и зачем». – «Ну хорошо, мы проводим дознание по делу Друскина». И пошло-поехало. Сухой рот, сердцебиение, но гнев и ненависть не дали им меня унижить. Я вспомнила, как на мои вопросы о страхе папа мне сказал: «Я видел перед собой врагов, прежде всего СВОИХ врагов». Вопросы были банальные: видели ли, читали, передавали, встречались ли с антисоветскими иностранцами и эмигрантами? – Не видели, не передавали, иностранцы законно приезжали по визам. Много вопросов про университет – с кем дружу, какими студентами руковожу, что могу сказать о том и об этом? На «университетские» вопросы я отвечать отказалась, сказав, что они к делу не относятся, и я не хочу, чтобы кого-то куда-то вызывали. «Мы и так вызвали и вызовем кого надо», – сказали они, дословно процитировали отрывки из наших разговоров и пообещали довести до сведения декана Мейера мое нежелание им помочь. Почему-то именно это вызвало у меня особый приступ ярости, и я закричала: «А мне наплевать! И не угрожайте мне!» Тут тот, кто постарше, прикрикнул на второго, но все равно это была ошибка. Моя реакция ничего никому не давала, но, как потом выяснилось, я, оказывается, «вела себя хуже всех» и понесла самое строгое (из вегетарианских) наказание. В какой-то момент младший встал и попросил разрешения осмотреть библиотеку. «У вас есть ордер?» – «Что вы все ордер да ордер? Мне просто интересно», – «Можно, только руками не трогайте». (Мало ли что там во втором ряду). – «Хорошая библиотека, но моя лучше. Полные собрания Большой и Малой библиотеки поэта и т.д.» Ах ты, сука, небось, из конфи-

скованных набрал. Наконец, старший сказал: «Я тут вкратце записал наш разговор, прочтите и подпишите». – «Прочесть прочту, а подписывать не буду». В его записях все было так и не так. – «Подпишете?» – «Нет». – «А что не так? Можно поправить». – «Не надо, все равно не подпишу». – «Но почему?» – «Не я писала, не мне и подписывать». – «Напрасно, вы только все осложняете». – «Разве это что-нибудь меняет? Микрофон у вас все равно есть». И они ушли. Вбежал Лева и возбужденно сказал: «Г.А., вы очень хорошо себя вели!» Спасибо ему. Но выбора не было. Всем правил гнев.

С этого дня до отъезда Друскиных прошло восемь месяцев, а до моего «ухода» из Университета больше года. И это был самый тяжелый период всей эпопеи. Друскиных часто навещал Павел Константинович, друзей и знакомых вызывали в Первый отдел (группа ГБ в учреждениях), а то и в Большой дом, прорабатывали в «коллективах», запугивали, шантажировали, угрожали карьере детей («Вот у вас сын талантливый музыкант, не разрешайте ему ходить к Друскиным, а то...»), или: «Вы же ученый с мировым именем. Как же вы будете работать, лишенный секретности, ездить за границу? А вы к Друскиным продолжаете ходить». Люди держались по-разному, часто физически дрожали от страха, иногда матерились от ненависти, кто-то скрывал дрожь под надменной усмешкой, но все знали – жизнь переламывается, вопрос – насколько. «Так всех нас в трусов превращает мысль». Эта мысль и была – «насколько». Не в таких трусов, которые предают, таких по большому счету не было, но в таких, которые теряют перед подонками лицо, идут с ними на компромиссы (например, соглашаются не встречаться с Друскиными, которые как никогда нуждались в простой физической помощи). Главным на подхвате был Алек. Все тот же П.К. радостно восклицал: «А, Александр Борисович! Самый верный друг! Я знал, что вы останетесь с Львом Савельевичем до конца!» Около друскинской парадной дежурил ГБ-шный пост, и некоторые визитеры приходили только поздними вечерами с капюшонами на лице (при белых-то ночах), другие залихватски говорили служивым: «Ребята, чего вы

тут киснете, сходите в рюмочную, согрейтесь, мы не скажем». Я помню, что как-то возвращалась домой и увидела группу мужиков у своего подъезда. Ноги стали как ватные. Вернулась на пару кварталов назад, позвонила Алечке с уличного телефона и сказала, что пройду дворами к черному ходу – был у нас такой, запертый-перезапертый и без звонка. Пока шла, сообразила, что телефон, наверное, прослушивается. Но за мной никто не шел. Дома выглянули в окно и увидели тех же мужиков у подъезда, которые, судя по всему, скидывались на троих.

РАЗГОВОРЫ С С.А. ЖЕЛУДКОВЫМ

Его называли отец Сергей, батюшка... Я звала – Сергей Алексеевич. Мне представлялось, что это имя, такое обыкновенное, больше присоединяет его к нам. Да он и сам представился при знакомстве: «Сергей Алексеевич, священник». Фамилию не сказал, потому что известностью не дорожил, а ВОТ «священник» – не преминул, расставил сразу все точки над «и» и добавил, поклонившись: «Очень рад, это для меня честь!» Ему, Желудкову, знакомство с нами – честь! Можно было принять это за учтивость, даже кокетство, но здесь – сразу видеть – это не фигура речи, это глубокий интерес к человеку (не с большой, с маленькой буквы), любовь, со-чувствие.

В письме к составителям Юбилейного сборника к 60-летию академика А.Д. Сахарова С.А. написал: «Черты личной святости... Я уходил от него, глубоко взволнованный впечатлениями от обаяния его личности... это были религиозные впечатления». Нет более точных слов для выражения впечатления от личности самого С.А., чем эти его собственные слова. Люди верующие и неверующие испытали это на себе и признавались: при всей человечности этого человека – общение с ним было религиозным опытом.

Он вошел в нашу жизнь недавно – немногим более трех лет до своей смерти; вошел сам, без зова – мы бы постеснялись

звать его. Нас связал трагический отъезд наших общих друзей – семьи поэта Л. Друскина – и весьма обыкновенные мытарства, которые пришлось на нашу долю за со-чувствие друзьям.

Вспоминаю его первый визит (вот уж неподходящее слово!) Мы виделись до этого два раза, друзья уже уехали. Он позвонил: «Г.А., здравствуйте. Я в Ленинграде. Вы дома? Я сейчас к Вам приду». Я – суесться, волноваться: «Давайте, я Вас встречу», еда, то-сё. Встретить не дал; пришел почти тотчас же, в поношенной теплой одежде, маленький, румяный с мороза, очень аккуратный, сел на диван и стал говорить так, как будто мы всю жизнь дружили. Так бывало и потом, и я почти привыкла к этим неожиданно радостным звонкам. Но перед каждой встречей волновалась. Экзамен? Исповедь? Ревизия своей души перед ним? Нет, совсем не то. Это было волнение перед Опытом, Опытом счастливым, какие бы грустные дела мы ни обсуждали. Со-чувствие – желудковский термин – было главной чертой его личности. Внимательность, проницательность его были необыкновенны, почти не от мира сего. Расспросит он тебя о твоих бедах, тягостных перипетиях, а потом, месяца через три, увидимся мы с ним: «Ну, как дела?» Начнешь напоминать ему, а он все помнит: «Вот Вы тогда говорили то-то. А что потом было? Как тот? Как этот?» Ну, как будто вчера мы с ним прервались на самом важном месте, и он все это время с нетерпением ждал продолжения. Потому, что действительно ждал, потому, что ему это было действительно важно. А ведь сколько было у него таких, как мы, друзей и конфидентов!

Незадолго до его смерти пришла к нам, чтобы познакомиться с С.А., наша подруга М., женщина нелегкой судьбы. Были люди, М. так и не поговорила с С.А., они только дошли вместе до остановки. Назавтра с утра звонок: «Как имя этой женщины?» Я сказала. «Нет, как ее полное имя? Удивительно печальная женщина! Какие печальные глаза! Дайте мне ее телефон!» А ведь они и словом не перемолвились о ее горестях. Он тут же позвонил ей и сразу занял громадное место в ее жизни.

Бывало, спросишь у него совета: «Ну, какой я советчик? Что я в этом понимаю? Вы сами умница, сами знаете, как

поступить. Спросите у мужа». Вроде бы и не давал совета, а это – «сами знаете, умница» – обязывало. Оставлял выбор, свободу. Верил в тебя.

Жалость, даже со-чувствие, вызывали у него и недостойные люди: «Это трагическая фигура... Пожалеть его надо». Даже люди, выбравшие недостойную профессию (он называл их драконами), были для него не на одно лицо. «Везде есть хорошие люди. За некоторых из них я молюсь. Без НИХ хуже было бы». Хотя не боялся и осудить: «Это злой человек». Иди: «Это похвальба, пижонство одно».

После тяжелых событий в жизни Л. Друскина, приведших к его отъезду, мы обсуждали с С.А. поведение и судьбы людей, связанных с этой историей. Все эти люди в той или иной степени подверглись давлению со стороны властей и по-разному это давление выдержали. «Все-таки это здорово», сказал С.А. «Что здорово, С.А.?» – «Друзья, друзья какие оказались! Это прекрасно». – «Но как же, ведь многие испугались, перестали звонить, встречаться. Люди, которые считались мужественными, преданными!» – «Ну и что же? Их можно понять. Они рисковали работой. Это для них очень важно. Это жизнь! Ведь никто же не предал, не свидетельствовал против него!» – «Но один...» – «Ну, разве что один. Зато какие примеры мужества, верности! Это прекрасно!» И я вспомнила средневековых псевдохристиан-иудеев, крестившихся ради спасения жизни, но втайне блюдущих древний закон. И закон считал такой выбор допустимым. Не все способны на мученичество. И не все должны быть мучениками, считал С.А. Кому-то надо жить и дело делать. И совсем не признавал жертвы из соображений «если не я, то кто же?!», усматривая в этом гордыню.

«Почту за честь...» – это было одно из любимых его выражений. Немного старинное, глубоко искреннее, оно выражало его веру в людей, радость общения с ними, его бесконечный интерес к ним. Вообще, общение было его стихией. Как разгоралось его милое лицо, сияли черные его глаза, даже белая аккуратная борода начинала светиться. «Какие разговоры, – повторял С.А., – люди-то какие! Это надо записать!»

Я слушала и думала о хороших молодых людях с их диско-общением – как не хватает им такого пастыря! Хотя специально С.А. никого, по-моему, не пас. Это шло как-то само собой, лилось из него.

С.А. был очень информированный человек, не жалел сил на добывание разнообразной информации и очень ценил это качество в людях: «Какие интересные вещи Вы мне рассказываете! Спасибо, спасибо. Как я много узнал от Вас!» Это могло касаться всего – политики, науки, техники, хозяйства и, уж конечно, человеческих судеб. Но больше всего удавалось узнать от него самого. Но не о нем! Его биография рисуется мне и многим другим, знавшим его, весьма смутно. На свои личные темы говорил неохотно, отвечал односложно. Лишь один раз он немного рассказал о своей жизни на Урале в 30-е годы («вольняшкой» в Ягодовских лагерях), да и то все про людей, про людей.

Лучшей похвалой в его устах было «свободный человек». Как-то я рассказала ему о близких мне молодых людях, евреях, вернувшихся к соблюдению законов своих предков – то есть, к иудейской религии, и не только к ее духовной, но и обрядной стороне, и этим очень усложнивших свою повседневную жизнь. Он сказал: «Свободные люди! Но тревожно за них. Понимаю Вашу тревогу». Я была поражена: христианин, далекий от обрядности, противник узкой ортодоксальности, утверждающий: «вечное Христианство более широко и свободно... оно ведает все, что дорого и свято нам в жизни», – называет их, блюдущих древние ритуалы, не признающих Христа, Свободными людьми!

Потом он, правда, смягчил ситуацию, рассказав анекдот о верующем еврее, путешествующем в субботу.

Его собственная свобода простиралась весьма далеко. Как-то он приехал в Ленинград Великим Постом. Я не знала, чем его накормить, но он легко разрешил мои сомнения: «Я не пощусь». – «Как, С.А., разве это не обязательно?» – «Это кому как. Кому это нужно, кому это помогает – тем обязательно. А я для себя сейчас не чувствую в этом необходимости».

Говорили как-то о Сотворении мира, об интерпретации Библейского предания современными верующими физиками. Кто-то сказал: «Нелепо сейчас понимать Библейский рассказ о Сотворении мира буквально». Он уточнил: «Не просто нелепо – кощунственно».

Вот что рассказывает А. о своей первой встрече с С.А.: «А. пришел в дом, где среди гостей был его друг Ю. и С.А. А. пришел с горестной вестью – скоропостижно скончался отец Ю. А. вызвал Ю. в коридор. Потом туда пришел и С.А., представился и тихо сказал А: «Как хорошо, что Вы пришли». Он не позволял промелькнуть незамеченным ни одному светлому пятнышку: друг пришел, а не позвонил, взял на себя тяжелую роль вестника, желая с первых же секунд горя быть рядом. И это хорошо».

Ум его, однако, был очень острым, критическим; ему совершенно несвойственны были иллюзии, благодушие, мечты о светлом будущем. При всей своей вере в человека, в человечность, он не склонен был идеализировать народ – «искалеченные души», как он говорил. Надежда человеческого существования была для него в личном подвиге лучших людей, верующих и неверующих – в нем он и видел подлинное христианство, в нем, а не в так называемом единстве народа, не в униформизме под любой, пусть даже православной идеологией. Он не стеснялся смеяться над уверениями Солженицына (которого, конечно же, высоко ценил), что сельский русский человек мечтает лишь о том, чтобы школа была для детей, да церковь, где помолиться. «Школа, может быть, – говорил он, – а про церковь – и думать забыли. Других забот много».

К печатному слову С.А. был удивительно строг. Про стихи никогда не судил: «Я ничего не понимаю в стихах», – это был его припев, когда он с ними встречался. Впрочем, один раз не удержался, ругнул Блока «темным поэтом», тут же добавив: «Впрочем, я не могу судить, не понимаю стихов». Я, честно говоря, этому не очень верила. Так и не знаю, почему он не позволял себе судить о стихах. А вот о прозе, особенно о современной художественной и публицистической, высказывал-

ся охотно. Здесь он был весьма взыскателен. Нередко упрекал авторов в дурном стиле, провинциальности, иной раз и просто дураком назовет или скажет: «Графоман, тут уж ничего не поделаешь». Не любил исторических романов, придирался к любой фактической неточности. «Петр Первый» Толстого громил безжалостно, да и «Узлам» доставалось. В исторической прозе более всего ценил жанр «художественного исследования», основанного на документах и добросовестных личных свидетельствах. Среди современных любимых книг называл «Архипелаг», «Утоли мои печали» Копелева, «Иванькиаду» Войновича, «В подполье живут только крысы» П. Григоренко (только заглавие категорически не одобрял); охотно цитировал Зиновьева; хорошо знал и любил Бердяева, восхищался книгами пастора Кюнга.

Разговоры с ним никогда не бывали тематическими – диспутов не устраивали, но сами собой возникали, как дыхание, разговоры о лжи и истине, о жизни и смерти. Отношение ко лжи у него было почти парадоксальным. «Что есть ложь? – спрашивал он. – Ничего! Истина – существует. А ложь – пустое место. Можно ли не лгать? Что же, говорить правду драконам? Подчас, сказать правду – значит предать. Вот Солженицын требует – жить не по лжи. Разве это возможно? Сколько людей бессмысленно принесло себя в жертву во имя этой формулы! А «ведь они могли бы жить, творить, помогать людям, делать свое дело».

Делать свое дело. Вот что он считал главным, извинял людям даже некоторые уступки совести, если они делались ради дела. Здесь он придерживался концепции Солженицынского «чемоданчика» – раз с ним в вагоне чемоданчик с ГУЛАГом, он не может и не должен сцепиться с хулиганами – чемоданчик дороже. Потому и извинял людей, отступающих от опального друга ради работы, лишь бы не предали. Очень осторожно, почти скептически, относился к жертве, мерил ее мерилom полезности (для людей, для страны, для дела).

Смысл жизни... Он не распространялся о нем, а подsunул нам выписки из эссе Мартина Бубера с притчей о рабби Ицике,

сыне рабби Йекеля из Кракова. Среди них мы прочли: «Есть нечто, что можно откопать только в одном месте. Это – великое сокровище, которое можно назвать реализацией существования, и обрести эти сокровище можно в одном-единственном месте – там, где ты стоишь. ... Если бы мы познали тайны высших миров, это не привело бы нас к тому подлинному включению в истинное существование, которое можно достигнуть, выполняя со священным умыслом свои повседневные обязанности. Наше сокровище зарыто под очагом нашего собственного дома...»

О смерти: когда я горевала о смертельной болезни отца, он сказал: «Не надо отчаиваться». – «Но ведь он умрет!» – «Все равно не надо отчаиваться».

Последний раз я видела С.А. в Москве; на завтра он ложился в больницу, где и умер. Он много звонил, сообщая друзьям о своей болезни и предстоящей операции, а в остальном вел себя вполне обычно: говорил, слушал, восторгался новым анекдотом, только руки беспокоились. Знал, что операция смертельно опасная, но утешал: «Что ж, ведь я не воевал, другие ведь воевали, ну а мне вот – операция». Потом сказал: «Мне нужно еще года два-три. Тогда я успею». К смерти готовился: причастился, объездил всех друзей. «Нет веры в Бога без веры в Воскресенье; тогда все бессмыслица, абсурд», – так он говорил и писал. И еще: «О смерти не надо горевать, а вот о жизни горевать иногда приходится».

В мирских благах С.А. не нуждался совершенно. Ему прислали в подарок теплый свитер – «Спасибо! Но зачем он мне? У меня есть теплые вещи (показывая на неизменный ватный жилетик), спасибо добрым людям – надавали». Но других не осуждал за «вещизм»: «Какой красивый человек! Как одет красиво!» – «Женщины любят вещи. Бог с ними, пусть радуются».

Его многолетняя спутница Т.Г. рассказывала, что он получил от брата немалое наследство. Когда она спросила его, где же эти деньги, он сердито сказал: «Танечка, если Вы еще раз спросите меня про эти деньги, я от Вас уеду». И таких историй – множество. Но не мне их рассказывать, тому есть другие свидетели. Сам он держал это в тайне.

Да, С.А. не стремился к известности. Дома у него, в Пскове, среди иконостаса любимых людей нет ни одной собственной фотографии, даже детской, даже групповой.

У С.А. было много друзей. Он дружил и переписывался с А.Д. Сахаровым, у него проводила лето Н.Я. Мандельштам, которая приняла христианство, и С.А. был ее духовником. Он предвидел свою скорую смерть и старался многое привести в порядок. Среди прочего, он рекомендовал своим «духовным детям» после его смерти обратиться к отцу Павлу Адельгейму. Нас с Алеком он с ним познакомил, когда Адельгейм как-то раз к нему зашел, а после его ухода сказал: «Вот кто настоящий праведник!» Встречать тело С.А. из Москвы приехало очень много народу, заполнившего половину Псковского вокзала. Потом все переместились в церковь, и Павел Адельгейм совершил над телом необходимые обряды. Т.Г., выполняя волю С.А., попросила Адельгейма разместить у него ее гостей, поскольку у нее самой места было совсем мало. Туда мы все к вечеру и пришли. Адельгеймы познакомили нас с детьми. Я заметила, что среди домочадцев были самые разные люди, в том числе довольно странные: и дети, и подростки, и взрослые. Потом нам объяснили, что это были пригретые им, в основном, с детских лет, жившие, в силу своей неполноценности, в разных казенных учреждениях и взятые им к себе в семью.

Уже совсем недавно, буквально когда пишутся эти строчки, я узнала, что отца Павла Адельгейма жестоко убили. На экране телевизора я увидела его лицо – длинное, с бородой, напоминающее лица с картин Эль Греко.

«САМА»

Еще один замечательный человек, с которым нас познакомил С.А., был Мих. Мих. Молоствов, хорошо известный в питерской демократической тусовке в начале перестройки, избранный депутатом Верховного Совета. До этого он проживал

и работал в местах, не столь отдаленных, потому что с биографией у него было не все в порядке. Он был чересчур родovit. Родовитость его восходила аж до Рюриковичей. И хотя рюриковичи никак не проявили себя ни в революциях, ни в контрреволюциях, терпеть такого потомка в центре страны властям было как-то неприлично. Поэтому его семью выслали из Ленинграда в Омск. Затем он вернулся в Ленинград и там закончил университет, но вскоре был арестован за работу, критиковавшую советскую систему, и приговорен к семи годам лагерей. После освобождения учительствовал в сельских школах. В начале перестройки стал известным правозащитником...

Я часто ходила на его выступления и была в него влюблена. Помню его выступление в Доме писателей. Высокий и стройный, он прекрасно говорил, а под конец поразил нас своим ответом на заданный ему вопрос. Его спросили: «Мих. Мих., вот Вы у нас депутат Верховного Совета и к тому же Рюрикович. Кем Вы себя в такой ситуации ощущаете?» Мих. Мих задумался и негромко сказал: «Я ощущаю себя евреем». Весь зал хлопал, а я окончательно в него влюбилась.

Один раз, тоже в Доме Писателей, я разговорилась с его внучкой и сказала ей: «Вы знаете, я влюблена в Вашего дедушку». Она вытаращила глаза и сказала: «Как?! ВЫ – в моего дедушку?!» «Да, – сказала я, – а что?» Она сказала: «Сама Галя Шейнина влюблена в моего дедушку!» Вот так, думаешь-думаешь о своей самоидентификации и попадаешь в такое вот «сама».

На тему самоидентификации вот мое стихотворение:

ЗАГАДКА

*... Вы Лосев? – Нет, скорее Лившиц.
Л. Лосев*

1

Вид на вселенскую столицу,
Крик понукаемой ослицы,
Магнитофонный муэдзин,

Седое марево маслин,
И возле Пиццы, где дорога,
Ютится скромно синагога.

Прыжок – и вот я в антимире,
В старинной питерской квартире,
И девяносто три реки
Текут рассудку вопреки.
А шашлыки в кафе над морем
Теперь навеки пахнут горем.

Так кто ж я на всеобщем Рынке?
Оджибуэйка? Гойка? Инка?
Под улюлюканье сторон
Стою, цепляясь за Сион,
А Лосев, не раскрыв загадки,
Ушел. С него и взятки гладки.

2

И когда орут: на пороге Путин,
Лужков, Медведев, Единороссы –
Говорю: какие ко мне вопросы?
Я не юноша на распутье.
Прожито много, осталось мало,
Мне бы улицы да каналы,
Звон дождя в жестяных водостоках,
Хотя бы в кино, хотя бы в строках.

Здесь я должна рассказать историю, ставшую контрапунктом моей духовной (да и материальной) жизни. Развитие этой истории С.А. выслушивал с жадным вниманием, это была как бы его личная история. Моя дружба с Л. Друскиным, мой отказ осудить его и поддержать версию о его «антигосударственной деятельности» неизбежно привели к моему изгнанию из Университета, где я тогда преподавала. Мне предстоял конкурс, на

котором меня надлежало провалить. Все должно было начаться с собрания кафедры – коллег, друзей, учеников, где нужно было меня НЕ рекомендовать. Все было, конечно, predetermined, но я готовилась к этому собранию, собиралась дать бой. И вдруг накануне ночью меня пронзило: я толкаю своих друзей и учеников на ужасный выбор; они должны либо свидетельствовать против и предать меня, либо испортить себе жизнь (ведь их не простят!) Подавляющее большинство завтра совершат подлость! И потом уже неудержимо пойдут вниз! А два моих близких друга? Одну я «амнистировала» – упростила не приходиться на собрание. А другого? А остальных? И я не подала на конкурс, отменила собрание, не спросивши никого. Я просила тогда совета у С.А., но он сказал: «Такие советы я не даю. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и посоветуйтесь с мужем». Многие не одобряли моего поступка, считали его небойцовским; другие упрекали меня в гордыне, недоверии к людям. Не все, конечно. С.А. не дал никакой оценки, но он со слезами на глазах спрашивал: «Но Вы объяснили это Вашим коллегам? Скажите им все обязательно! И напишите, опишите все это». Я нашла случай объяснить это моим коллегам прилюдно. А сейчас вот написала.

Итак, какая-то часть эпопеи кончилась, можно было взять тайм-аут. Лучшим тайм-аутом была, конечно, деревня Жеймяна в восточной Литве. Мы к этому времени туда ездили уже лет пятнадцать. Хутор Жеймяна стоял на извилистой быстрой речке Жеймяна, переправившись через которую на лодке, можно было пойти громадным заливным лугом на грибные места. Если шли гуськом за муравьями по муравьиной тропинке, то выходили к первой вышке, где росли белые грибы. Оттуда следовало пройти к озеру Погульбины с поляной, заросшей ароматной дикой резедой. Тут я ложилась на какую-то кочку и начинала думать о своей жизни, которая в настоящий момент переламывалась-перемалывалась.

Переломаться жизнь должна была примерно к октябрю, но расслабляться было рано. Своих друзей, а также многих коллег я уже посвятила в свои планы, но выслушивать советы, какими

бы доброжелательными они ни были, было очень тяжело. Вернувшись на факультет, я попросила заведующего соседней кафедрой предоставить мне на несколько часов аудиторию. Там я собиралась сделать отчет о проделанной за тринадцать лет работе, не желая при этом приглашать заведующего нашей кафедрой Барабанова. Скорость переламывания увеличилась, но куда денешься? А пока что Барабанов вызвал меня к себе в кабинет на «парт-ячейку». Парт-ячейка состояла из него самого, моей приятельницы Надежды и инженера Коли. Барабанов пожурил меня за то, что я не могла дожидаться конкурса, а предпочла сделать все сама. Я сказала ему, что просто мне не хотелось ставить моих друзей и коллег перед тяжелым выбором. «Каким таким выбором?» – удивился он. «Между честностью и трусостью», – сказала я. Он позеленел и, ударив себя по ампутированной ноге и руке, сказал: «Кажется, я этим и этим доказал, что я не трус!» И тут я ему сказала, повторив его жест: «Этого и этого от Вас никто не отбирает. Но на этом и этом всю жизнь не проживешь».

На мой отчет пришло очень много людей, некоторые даже стояли в коридоре. В последующие дни ко мне прибегали даже люди с других факультетов. Жизнь вроде как перемалывалась.

Мне предстояло работать еще несколько месяцев до конца учебного года, и все это время я непрерывно выслушивала советы. В основном, они сводились к тому, как схитрить и все-таки остаться в университете, хотя бы в Институте земной коры. Или попытаться устроиться в какое-нибудь другое место, где мои советчики кого-нибудь знают. Они были правы, поскольку надо было зарабатывать на жизнь. Но мне противно было представить себя сидящей в хорошо знакомом мне помещении Института земной коры, где все подходило бы ко мне с сочувствием и утешениями и говорили, что все, мол, образуется. Да, образуется, в 50 лет! Вместо этого мои коллеги по кафедре устроили мне юбилей в лаборатории, и все та же партийная Надежда сообщила об этом Барабанову. Тот подумал и сказал: «Как же так? Наша популярная на факультете

преподавательница, конечно, нужно отметить. Я думаю, нужно отметить это в «Восьмерке» (так называлась университетская столовая). «Нет! – сказала партийная Надежда. – Для Г.А. это сюрприз, она и не знает, что мы ей устраиваем. А у нас уже и столы накрыты».

Мне оставалось работать в университете до октября, то есть до конкурса, на который я не подавала. Ко мне приходили домой по вечерам группами студенты, чем я была очень растрогана, особенно, когда пришла группа восточных немцев, которые за некоторое время до этого умудрились мне сделать выговор за то, что я в перерыве читаю буржуазную писательницу Агату Кристи. Часто мои друзья провожали меня из университета домой... Иногда мы по дороге заходили в кафе-мороженое и пели тихие песни. Но наступил момент, когда я, придя домой, поняла, что хождение пешком очень трогательно, но нужно уже думать о переломе. Перелом ноги уже проходил, но о душе следовало подумать. В общем, пора было ехать в Жеймяну, и так мы и сделали. Мы поехали вдвоем с Алечкой. Как-то я пошла в лес одна. Набрала полкорзинки хороших белых, и нужно было уже передохнуть. Прилегла на резеду. Было тихо, собаки не лаяли, значит, меня никто не искал. Мне снилось что-то хорошее: перелом прошел, я не хромаю, и теперь пора заняться жизнью. «Схожу-ка я за груздями, – думала я, – еще не поздно». Они росли в молодом березнячке на той стороне крутого оврага. Перебираясь через овраг, я увидела торчащие белые сахарные ушки. Это грузди, и их очень много, только собирать некуда. Я сняла «болонью» и завязала из нее нечто вроде мешка. Скоро я не могла его уже тащить и пошла обратно. Поднявшись наверх, вся грязная после оврага, я поняла, что дела не так хороши. Дело к сумеркам, и хотя дорогу я знаю, две неподъемные ноши мне не донести, и никто меня, бедную, не искал. Я стала кричать «ау», и немедленно откликнулись два милых собачьих голоса, прибежали Псяпса и Бобка и стали в восторге меня облизывать. Они схватились за поклажи, показывая, что готовы помочь, но я прогнала их веткой, и они уселись, задумались, а потом дружно повернулись и убежали. Но я уже не волнова-

лась, и, действительно, скоро появился Алек. Дома нас ждала наша каждодневная еда: окрошка из сыvorотки, картошка со сметаной и солеными грибами и ягоды. Потом нас так размо-рило, что пан Антон пришел к нам в комнату и сказал: «Сейчас грибы чистить не ходите, лучше сыграть в преферанс, раз пана Бори нет». После этого еще часа три позанимались грибами и отправились ночевать на сеновал, и Алек даже написал там лирическую поэму про Жеймяну.

ДАЧА

Вернувшись из Жеймяны, мы, как ни странно, зажили прежней жизнью. Все устаканивалось, и опираясь на привычные устои, можно было жить, как будто и не было перелома. Выяснилось, что эти устои более основательные, чем то, что проявлялось на поверхности судьбы. Друзья помогали как могли, и вскоре у меня образовалась группа учеников, которым я преподавала английский, русский, занимательную математику и отрывки из химии. Дети были очень милые, и мы ладили. Любимым предметом, как ни странно, была химия. Мы выращивали разноцветные силикатные леса в банке, к небу на глазах вздымались немножко вонючие фараоновы змеи. Это вызывало такой восторг, что можно было вытерпеть и другие уроки. Потом наша маленькая школа пополнилась уроками компьютерной грамоты, которые вел с большим успехом Алек. Подруга Майя Лютова устроила мне лекции по статистике в Ботаническом институте. Другая бывшая сокурсница, Нина Герцева, устроила аналогичные лекции в другом институте. Все это происходило довольно успешно, и выяснялось, что жить можно, стоит только захотеть. Дух поддерживала важная часть жизни, называемая Дача. В то время можно было арендовать у государства дачу на зимние месяцы, когда в них не нуждалось начальство. Мы, как и другие, снимали такую дачу на несколько семей и проводили там уик-энды, катаясь

на лыжах и наслаждаясь дружескими тусовками. С нами были дети разных возрастов, которые все это обожали и впитывали взрослые разговоры, как губки. Постепенно дача обрастала гостями, поскольку друзья привозили друзей, а те – своих. Дача упоминалась впоследствии в художественной литературе и называлась «Шейнинская дача». Там бывали известные люди: поэты, ученые и т. д. Происходили жизненно важные и судьбоносные события: известная история в жизни Бродского, которая привела к его аресту и, в конечном счете, к эмиграции. Мы старались отразить дачную жизнь в настенной литературе: стенгазете и дацзыбао, например:

Здесь был поэт Виктор Соснора.
Он кофе пил и ел рокфора.

Известный поэт Бобышев писал:

Тихо, Шейнины, уймите
Ваши игры, наконец!
Здесь за стенкой дремлет Митя,
Целомудренный юнец.

Вывешивались инструкции по внутридачному поведению:

Воспользовавшись туалетом,
Фанерой дырку закрывай.
И никогда не забывай
Об очень важном деле этом.

На это следовал ответ гостя:

Ведь как стихи писались встарь?
Аптека, улица, фонарь!
И вот, спустя полсотни лет, –
Фанера, дырка, туалет!

И, конечно, обсуждались актуальные события: выставка художников, которых Хрущев окрестил «пидорасами». В их числе был знаменитый Эрнст Неизвестный, который впоследствии создал известный памятник на могиле Хрущева.

Дети все это слушали, раскрыв рты. В нашем детстве родители старались уберечь нас от опасных разговоров, а мы придерживались противоположной тактики, и, надо сказать, дети выросли хорошие и дружили с нами.

Вечером устраивались застолья: варились ведра картошки, стол уставлялся привезенными из города яствами, пили водку и читали стихи, свои и чужие. Мы были очень горды тем, что посетители нашей дачи превращались в выдающихся писателей и поэтов, приобретали международную известность. Некоторые нашли там свои пары. Увы, многих из них уже нет, а другие «далече».

Прощание с Питером

Годах эдак в конце восьмидесятых вышла я на свою Дегтярную улицу и вспомнила, что она когда-то была по-настоящему дегтярной, и напротив моего дома был даже магазин под названием «Деготь, смазки, керосин и пр.», в который ходили лошади, а также частенько и я – за керосином, необходимым для примусов и керосинок, главных средств для приготовления пищи. Они стояли на дровяных плитах, которые разжигались только по праздникам, для пирогов. Кругом были улицы с похожими названиями и на них магазины сходного содержания: фураж на Фуражной, скобяные изделия на Скобяном, Мытнинская – там бани. Неподалеку был Конский переулочек и Конный рынок. На этих улицах стоял крепкий цирковой запах и ездили лошади с настоящими кучерами. Если кучера были в хорошем настроении, можно было попроситься к ним покататься. Еще немного – и мы в Кузнечном переулке, а потом на Разъездной площади, где ломовые и верховые повозки разъезжались в

разные стороны – верховые в центр города на Стремянную и потом на Парадную, а ломовые – на Обозную. На Парадной стояли казармы, и дальше начинались улицы, которые когда-то раньше назывались «полками» по имени соседних церквей: Преображенский, Знаменский. Вокруг Рождественской церкви стояли прямолинейные параллельные улицы, от Первой Рождественской до Десятой. В мои годы они уже назывались Советскими. Я, например, жила между Восьмой и Девятой Советской. Дома на них предназначались для людей побогаче. Это были пяти-шестиэтажные дома с эркерами по углам, большими окнами и даже чугунными балкончиками. Квартиры фасадов были громадными, и поэтому при Советской власти превратились в страшные большие коммуналки.

Выйдя на Девятую Советскую, я увидела толпу в районе магазина холодильников, который, ввиду дефицита, был уже давно закрыт. Я побежала к ним, а люди – всей толпой ко мне. «Что случилось? – закричала я, – Все живы?» – «На холодильники записывают, дамочка! На иностранные!» Кто-то кричал: «Берите голландские! Они хоть и подороже, но самые надежные». – «Лучше минские, – возражали другие, – больше гарантийных мастерских». «Так когда это все будет?» – спрашиваю я. «Глядите сами. Вот сейчас 2006 номер идет, а народу здесь, в толпе сами видите, сколько. В общем, – подытожил мужчина, – к 2004 году готовьтесь». Разговор происходил в начале 90-х годов, уже после того, как Ельцин побывал на танке, а у ГКЧП до сих пор тряслись руки. «Неужто Вы думаете, что в 2004 году все еще будет Советская власть и все будут выдавать по талонам? Да и дожить надо», – сказала я. В это время с противоположной стороны улицы мне помахал человек по кличке «цыган». Цыган работал «из окна». На форточке была нарисована набойка и перечислены разные работы: «Набойка – 10 минут, модель – неделя, голенище – ...» Вот и нашлась связь с дегтем, которую я везде искала: у верховых же должны быть голенища. «Не слушай ты их, дочка, – сказал он мне. – Если очень надо будет, скажи мне, и я тебя запишу». Он сидел всегда в кепке, а на улицу иногда выходил в цилиндре. Папа считал его евреем

и называл Сапожниковым. Его жена сидела на тумбе у подворотни во всей цыганской выкладке и читала книгу на русском языке, кажется, Гоголя.

Если еще добавить панельные тротуары и живописно страшные трубы на крышах, то это и будет мой Питер тех лет.

Невою острой вспоротый по брюху,
Лежит судак в углу моей отчизны,
Очищенный от крови и кишок,
Блестит чешуей и головизной
И глазом темно-красным как ожог.

Переверни его – увидишь ток
Каналов, рек, канавок и проток,
Услышишь ветер, ухажущий глухо,
Невнятный скрежет мостовых опор, –
То Мойки и Фонтанки давний спор:

– Меня, гляди, сама Нева питает,
А ты протока только, не река,
Меня красавцы кони украшают,
(Их укрощала Клодтова рука!)
Ты тоже хороша, не плачь, кузина,
Висячий мост твой – чистая корзина.

– А ты, сестра, прямая как кишка!
Нет у тебя изысканных извивов,
Изящества классических изгибов,
Соперничать со мной? Кишка тонка:
Я по-чухонски называлась Мья*,
Да вот, глядишь, из грязи вышла в князи,
Неслыханна история моя –
Здесь Пушкин умирал, и в зимней грязи
По пояс весь народ вокруг стоял.

* Мья – грязь

Здесь убивали Гришку впятером
Царице и царю наперелом.
Вникаешь в смысл моей дихотомии?
Да где тебе слова понять такие.

Тут в спор вступила матушка Нева:
Молчите, дочери, я еще жива.
Пусть вы красотки – кто вы предо мной?
Кто я сама перед морской волной?

Последний раз я была в Питере, когда Алека уже давно не было, не было уже и нашей квартиры на Дегтярной, где я прожила с рождения до отъезда. Я ходила туда прощаться; в моей старой квартире уже жили некие художники, которые покрыли мой дубовый паркет синим лаком. На этом можно было бы поставить точку, но лучше я сделаю это на нашей поездке с моей взрослой внучкой Олей на побережье в армянский ресторанчик, нависающий над заливом. Мы туда ездили вдвоем еще 1 августа 2002 года праздновать семидесятидвухлетие Алека. А теперь мы поехали с Олей вдвоем на то же место, и

Над розовым морем вставала луна,
Во льду зеленела бутылка вина,
И томно кружились влюбленные пары
Под жалобный рокот гавайской гитары. ...
Нет, Вы ошибаетесь, друг дорогой:
Мы жили тогда на планете другой,
И жизнь на той планете была другая.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Я живу на горе
Над цветущей пустыней,
Где песчаная дымка
Дрожит при хамсине,
А поодаль чернеют
Бедуинские тенты –

Вот какие бывают
В этой жизни моменты.

Изменяется все –
И пейзаж, и заботы,
Расставляются заново
Приоритеты.
Ускользнувшее слово,
Позабывтая нота
Превращаются в что-то
Когда-то и где-то.

На ноябрьском небе
Ни дымки, ни тучки...
Я по вади хожу,
Собираю колючки.
По обочинам туф,
Роговая обманка.
Я и там иностранка,
И здесь иностранка.

УХОД

ПИСЬМА ПРО АЛЕЧКУ

Дорогие! Посылаю вам Манечкин перевод письма, которое Лиин друг Йоси написал, узнав о смерти Алека, и отдал Лие на похоронах. Йоси очень помогал нам, проводил с Лией в больницах у Алека многие шاباتы, дежурил у него ночами – с Лиечкой и один. После этого письма мы еще раз поняли, что даже в тяжелой болезни и неадекватности Алек был способен вызывать у людей любовь и восхищение, что воздействие его личности на людей сохранялось до самого конца. Покажите и перешлите это письмо всем, кому возможно. Г.

Я познакомился с тобой только во время твоей болезни, когда ты был слабым и усталым от очередного дня борьбы за твою богатую жизнь.

Но когда я заглянул в твои большие зеленые глаза, я смог почувствовать в них радость и разглядеть в них искры святости. Настали дни, когда я приблизился к тебе и узнал тебя – и тогда я подошел и поцеловал тебя в лоб. Ты ответил мне объятием и ласковым словом («спасибо, дорогой»), как будто бы говоря: «Сейчас у меня есть силы продолжать бороться». Когда настали более трудные дни, и ночи стали длиннее, и страдания твои усилились, и отчаяние воевало с твоей внутренней радостью, я обратился к тебе на своем ломаном английском с наглой просьбой: “Give a little smile, Alexander” – и ты сразу же, как будто улыбнуться совсем не трудно, ответил на мою просьбу из лабиринтов своего страдания и улыбнулся мне своей чудесной улыбкой, как бы говоря: только люби и радуйся своей участи.

И когда мне рассказали, что ты исполнял эту же просьбу твоей дорогой жены уже из-под кислородной маски, незадолго до смерти, как бы стараясь передать другим эту свою мысль, не сдаваясь ни на секунду, оставаясь верным своей великой любви к жизни, я понял твое величие и доброту твоего сердца, которые вели тебя по всей твоей жизни. Да будешь же ты почивать в мире.

А Тебя, Владыка мира, Царь царей, единственный Отец – Тебя я благодарю за то, что дал мне удостоиться стоять рядом с этим любимым человеком; несмотря на то, что я и языка его не понимал, я многому у него научился. Если бы только я мог жить так же, как он и улыбаться в трудные минуты такой чудесной улыбкой.

*С любовью,
Йоси Хадад*

Перечитывала и чистила свою корреспонденцию и поняла, что хочу, наконец, написать тебе письмо. Вообще-то я решила приехать в сентябре в Питер для разорения и продажи родного пепелища, после чего единственное место, где еще оставался дух, вещи и запах Алека такими, какими он их оставил, перестанут существовать. Он будет только на Масличной горе, на склоне под русской колокольней, на самом древнем действующем кладбище мира, без цветочков, песочков, скамеечек, травки, оградок, под белым иерусалимским камнем, сверкающем на солнце среди таких же камней, и не надо ничего сажать, красить, сидеть-выпивать... Я сама выбрала это кладбище; Масличная гора с колокольней видна из моего балкона, прохладными вечерами я сижу на балконе, смотрю на нее и на окружающую ее красоту, и, веришь ли, мне хорошо.

Уходил Алек долго и трудно, хотя боли как таковые его не мучили. Он все меньше и меньше мог выразить мысль, он не знал, как взять предмет или погладить меня, но он полностью сохранил личность: кротость, радость встречи светилась в улыбке и часто в слезах, которые он старался скрыть, поднимая вверх лицо. Стихи оставались с ним до последних дней; когда ему стало трудно читать их самому, их читала я, а он иногда поправлял почти шепотом. Уж их он не забывал и не путал до самой смерти. И всегда плакал, объясняя опять же стихами: «Над вымыслом слезами обольюсь». Со мной он никогда не говорил о смерти, играя в игру «все будет хорошо», а старшим внукам изредка говорил: «Я скоро умру». Он терял все больше и больше с невероятной покорностью и отвечал на вопросы о самочувствии неизменным «хорошо», хотя был весь в ранах и грибках. «Разве это боль?» – говорил он. И тут становилось ясно, какая душевная боль его мучает и днем и ночами, часто бессонными.

Умирал он хорошо. Врачи приемного покоя просто влюбились в него и делали все, чтобы ему помочь, не причинив лишних

страданий. Нас было четверо вокруг него – я, дочка Маня, зять Лева и 17-тилетняя внучка Элишева. Лева читал молитвы, мы гладили и целовали его до самой смерти и после. Вот бы и мне так. Я столько раз проживала его смерть в мельчайших подробностях, особенно на пути в больницу, что не удивилась, когда все так и было. Наверно, мне это было засчитано за молитву.

В феврале я писала:

Не пишутся стихи,
Не думаются мысли,
Всю душу заняла
Одна большая жалость...
Вот разве что миндаль
Цветет сквозь снег и ветер,
А больше ничего на свете не осталось.

С любовью Г.

ЛУКОВЫЙ СУП

Привет, дорогие. Написавши письмо Нине Катерли, которое получилось про Алечку, я поняла, что созрела писать о его последних месяцах. Пусть это будут письма; дневники и мемуары – не мой жанр. Позволю себе самоцитату:

Пора писать о прожитом, о людях,
Прощать обиды, подводить итоги,
С потомками делиться чем-то важным,
Чтоб не уйти из жизни без следа.
След, видишь ли... Какая ерунда!

9 февраля, в день моего рождения и за два месяца до своей смерти, Алечка меня впервые в жизни не поздравил. Отсчет

времени – даты, часы и пр. для него уже не существовали. На следующий день я рассказала ему, что мы всей семьей провели вечер в Бейт Тихо. (Мы всю жизнь все рассказывали друг другу; я и сейчас, чуть что, рвусь ему рассказать.) Этот ресторан мы с ним открыли первые, а потом он стал весьма популярен среди родных и знакомых. Алек, сидевший в инвалидном кресле, поднял лицо вверх, широко открыл глаза, чтобы загнать обратно слезы и сказал: «Луковый хлеб». Потом опустил голову, прижался губами к моей щеке, стал с силой барабанить пальцами по моей руке и сказал: «Поздравляю Котиньку, мою дорогую Лали». Слезы так и лились.

(Мой комментарий. В Тихо мы любили есть луковый суп, который подавался в буханочках хлеба с вынутым мякишем. Алек, если не сидел сомкнув замком руки, барабанил по окружающим его предметам, а иногда и по мне. Я спрашивала: «Что ты делаешь?» Он отвечал очень нежно: «Глажу Котиньку». Лали звали грузинку-раздатчицу, которая очень его любила и, если нас не было, кормила завтраком. Она говорила ему «Сашенька дарагой мой». Ее имя напоминало ему Есенина, и он часто называл им тех, кого любил. Я же была для него Котинькой, и русскоязычные медбратья тоже стали называть меня Котинькой.)

Я сказала ему: «Не расстраивайся, тебе станет лучше, и мы снова пойдем туда все вместе». Он ответил: «На этом? Привязанный?» и похлопал по коляске. Дело в том, что, когда мы уходили, его привязывали скрученными простынями к коляске, иначе он мог встать и упасть. Он сам говорил: «Пусть привяжут». Я ненавидела это и спрашивала: «Разве ты будешь вставать?» – «А хрен меня знает». Он был собой, всегда оставался собой!

Он всем улыбался и был самым любимым пациентом, но об этом другой раз.

Пишите! Мне это очень важно!

Всех люблю и обнимаю. Г.

Мои дорогие. Последним Алечкиным домом было некое медицинское учреждение по уходу и реабилитации, расположенное в иерусалимском районе Гило. Попал он туда в ноябре 2002 г. Этому предшествовала серьезная операция по биопсии, которая нужна была исключительно для протокола, так как все опухоли из ряда глиом лечатся одним и тем же лекарством. А диагностирована была именно глиома. После операции состояние Алека резко и во многом необратимо ухудшилось. Он перестал самостоятельно ходить, у него развилась пневмония и большой отек мозга. Мы привезли его в приемный покой больницы Хадасса Эй-Карем, где он впал в забытие, а мы две недели бились головой об стенку, чтобы его лечили, а не выписывали домой как безнадежного. Да, там такая политика – если ты попал в больницу после неврологической операции, а у тебя пневмония, иди (?) домой. Если ты лежишь в онкологии, а специфического онкологического лечения нет – тебе там не место, и не важно, в каком ты состоянии, хоть умирай – тебя выписывают (что и произошло за два дня до смерти). К счастью, были и заступники, а мы твердо держали позиции, да и младший медперсонал хорошо к нам относился и помогал советами. (Слава Богу, для контактов мне хватало русского и английского, ну а про Манечку и говорить нечего, она такая молодец.) Но вот, наконец, наступил момент, когда Алечка открыл большие глаза, посмотрел ясно и сказал с улыбкой: «Я что, типа умираю?» И мы трое захохотали и заплакали. Вскоре его перевезли в Гило.

В Гило его прекрасно встретили и очень полюбили. Вынули из него бесконечные трубки, которые так обожают в Хадассе для упрощения физиологических процессов, посадили в инвалидную коляску, и вскоре состоялся наш первый выход в общую столовую, где проводят большую часть дня сидячие больные. Я уже изучила тамошнюю диспозицию и очень боялась этого выхода. Картина такая: большинство не может есть самостоятельно, многие спят, кто-то кричит на одной

ноте, некоторые не говорят, и лица, лица... Алечке подобрали соседство получше, и вот он за столом – красивый ясноглазый элегантный интеллектурал – вот как он тогда выглядел. Он поглядел вокруг, и в глазах его читалось: “I don’t belong here” – «Я не отсюда». Вот тогда он первый раз поднял лицо вверх. И – ни слова.

Почему его так любили? Ведь по ночам он был очень беспокойным пациентом, а ночью он, по большей части, был без нас. Из-за больших доз стероидов, необходимых для снятия отека мозга, он страдал двигательным возбуждением, ночью не спал, все с себя скидывал и пытался перелезть через барьер кровати, ранил руки и ноги и громко кричал непонятные слова. Он был тогда еще достаточно силен и ловок. Но стоило к нему подойти, как он улыбался, говорил «дорогой» или «dear friend», уверял, что ему ничего не нужно, что у него просто «restlessness», а чувствует он себя хорошо. Он всем улыбался, всем был доволен, целовал ручки, говорил ласковые слова, иногда шутил. Конечно, многое он постепенно терял, но не улыбку. Он оставался красив, обаятелен, благороден. Ко мне часто подходили посетители и спрашивали, кто он, восхищались его интеллигентной внешностью и доброй улыбкой. Тем большим контрастом выглядела реакция на него тех, которые видели не то, что осталось, а что он потерял, и смотрели с состраданием и тоской. Конечно, у них были другие точки отсчета, но нельзя было не заметить, что он оставался собой.

Пока все. Пишите, мои дорогие. Г.

БАРАТЫНСКИЙ

Как-то в декабре (или январе?) звонит мне вечером Лия из Гило: «Бабушка, бабушка, дедушка тут у Миши читает Баратынского. Он такой хамуд (милый, славный). У него глаза так и сияют! И не просто Баратынского, а раннего,

представляешь, РАННЕГО! И все его слушают». Миша – это русскоязычный специалист по лечебной физкультуре, а ВСЕ – это русский медперсонал. Алек очень любил заниматься у Миши. Там он ходил, делал упражнения, и чтобы снять напряжение, Миша в это время обсуждал с ним высокие материи – поэзию, теорию относительности, религию, этику и т.д. Так дошли и до декламации стихов. Вы ведь знаете, как Алек читает стихи. (Бог мой, написала и поняла, что должна была написать «читал» и «помните», но не хочу, не буду стирать.) По-моему, он читал их лучше всех. Слых, что Александр замечательно читает замечательные стихи, быстро разнесся по больнице, и не только к Мише, но и к нам в палату (он тогда был один) стал приходить русский люд. «Вот пришел отдохнуть, пообщаться, послушать стихи», – говорил один. «Александр, Вы все понимаете, в чем смысл жизни?» – спрашивал другой. И Алек неизменно отвечал: «В любви». Они обращались к человеку, которого им приходилось кормить, который не помнил их имен, который мучил их, выплевывая таблетки, которого мыли, переодевали и т.п. И бесконечно его уважали. Алек, если бывал в форме, получал большое удовольствие от этого внимания. Я замечала, что он читал стихи с большей эмфазой, чем раньше и что он не прочь был обсуждать любые вопросы, даже те, которые раньше обсуждать бы не стал, считая себя недостаточно компетентным (он всегда посмеивался, что я лезу обсуждать все темы). Он даже немного актерствовал, видя такое внимание к себе. Кстати, знакомые и приятели, за редким исключением, разговаривали с ним иначе (да простят они меня, ведь я понимаю, что им было трудно справиться с жалостью). Так, когда Фима Э. спросил его, помнит ли он Марека Вассермана (не менее близкого ему, чем сам Фима), Алек дал ему отпор: «Ты что, Фима, обалдел? Что ты несешь? Как я могу не помнить Марика? Да я его лучше тебя помню!» В общем, он стал гордостью и легендой этого дома в Гило, и позже, когда он уже ничего этого не мог, да и не хотел, я услышала такой разговор между посетителями: «Кто этот человек с таким благород-

ным лицом?» – «Это Александр из Петербурга, он профессор математики, поэт и музыкант». Так что знай наших.

Всех обнимаю. Г.

P.S. Дополнение

Наибольшее восхищение аудитории вызвал не Баратынский, не Пастернак и не Цветаева, а Поль Верлен. Алек как-то прочел по-французски «Des sanglots longs des violons de l'automne». Читал он в столовой в конце трапезы, очень тихим голосом (помните, он стал тихо говорить еще в Питере) в окружении поклонников. Вокруг был гул голосов, скрип увозимых колясок, бречание убираемой посуды. Но все слушали тихие непонятные стихи в молчании и благоговении. Читал он прекрасно, упиваясь музыкой стиха с его ассонансами и аллитерациями. Потом он назвал поэта, сказал, когда он жил, кто его переводил и сам легко и красиво перевел стихи прозой. Это ОН, который путался в именах, не справлялся с датами, не мог производить простейшие арифметические действия и подобрать нужного слова для выражения своей мысли. И всегда стеснялся этого, нервничал и уходил от вопросов. Читая стихи, он был спокоен, уверен, приятно возбужден. Тут же побежали за некой франкоязычной Мадлен, которая персонально обслуживала одну больную даму из МИДа. Алека заставили читать еще раз, она благосклонно выслушала, подтвердила, что это Верлен и поправила произношение. Публика была шокирована, они, небось, ожидали, что Мадлен падет ниц, и Алек еще их уговаривал, что произношение у него, и правда, плохое.

НАХАМИЛИ

Чтобы лучше понять эту историю, надо представить себе «расклад» медперсонала в Гило. В отделении два врача, главврач и дежурные врачи ночью и в выходные. Все врачи

русские, кроме главной, которая к тому же практически не говорит по-английски, а потому сильно комплексует. Медсестры и медсестры тоже на 70% русские, и администратор русский, а санитары разные – арабы, нерусские израильтяне и русские израильтяне. Уборщики только арабы, в пищеблоке две грузинки. Арабы своей работой дорожат, а русским санитарам она нередко запахло. Но большинство санитаров работает добросовестно, хоть и за гроши; если что – мигом уволят, а работа тяжелейшая. Арабы все из одной деревни в пределах Иерусалима, хорошо знают иврит; объясняются по-английски. Русские с бору по сосенке – из разных республик и городов. Среди них – две художницы, классная модельерша, зав. хирургическим отделением из Тюмени и даже один убийца. К нам все относятся очень хорошо, а с некоторыми русскими мы просто дружим. Очень набивался на дружбу и Сергей. Он был толковым санитаром, но любил подчеркнуть, что он здесь только для налоговой инспекции, а сам – бизнесмен и брокер, его главный доход в евро. Ему было за сорок, он курил трубку с ароматнейшим табаком и, уходя со смены, любил заглянуть в комнаты, чтобы продемонстрировать свою отменную джентльменскую одежду. Он интересовался нашими профессиональными занятиями и как-то, кормя соседку по столу в то время, как я кормила Алека, сказал, что хочет со мной посоветоваться. У него, мол, в бизнесе бимодальное распределение, а компьютер-де не знает, что с ним делать. Распределение какой величины и по чему – мне выяснить не удалось, тем не менее, он был очень мной доволен и обещал принести необходимые материалы. Алек разговор слышал и молчал, но в палате довольно неожиданно сказал: «Слова-то какие знает. Ничего он не принесет». Я была страшно рада столь адекватному высказыванию и попыталась эту тему развить, но Алек мрачно сказал: «Отстань про него. Клади спать».

Как-то в конце февраля, когда Алек уже перешел в разряд тяжелых, я не справилась с его туалетом и вызвала санитарку. Пришел Сергей, уже торопясь на обед, и, работая, читал мне отвратительную нотацию о том, как я плохо все делаю

и из-за этого его задерживаю. Может быть, я и делала все плохо, но от санитаров слышала одни благодарности, поэтому я, усталая и расстроенная, сказала: «Сергей, прошу вас, не читайте мне лекции, мне и так тяжело». Что тут было! «Ах, это только Вам положено читать лекции! Вы у нас интеллигенция! Да я больше Вашего читал лекции! Это только в этой поганой стране я вынужден попы мыть!» «Наконец-то я поняла, в чем Ваша проблема», – сказала я. Теперь он уже орал не помню что; главная мысль была, что пусть Александр падает или тонет в говне, он и близко не подойдет, и чтоб я его с этих пор называла Сергей Валерьевич. И тут Алек, с которым он в это время работал, как-то вырвался из его сильных рук и, рискуя упасть, закричал громким шепотом: «Я не позволю кричать на мою жену! Больше никогда ко мне не подходите!» «Слушаюсь, профессор», – и Сергей, не доделав дела, хлопнул дверью. Потом Алек лежал в постели, весь дрожа. Обычно он или сразу засыпал, или мучился все полтора часа, стуча ладонями по барьеру кровати, выбрасывая из-под себя подушку, а потом беспомощно искал ее и выкрикивал непонятные слова и буквосочетания. Иногда он говорил мне: «Полежи со мной, Котинька». Если такая возможность была, я опускала барьер и пристраивалась рядом, но он продолжал двигаться и стучать – по кровати, по мне... На этот раз он не спал и не шевелился, лежал все полтора часа с открытыми глазами. Я спрашивала, что с ним, старалась успокоить, но он только повторял «нахамили» и помнил это не один день.

MEMENTO MORI

Не знаю, зачем древние решили это изречь, по-моему, с первых сознательных лет люди (да и животные) ни на секунду об этом не забывают даже в самые неподходящие моменты. Алек же уверял, что это не про него. Мол, думаю, конечно, но в голове постоянно не держу. (Он писал в дневнике, запись от

30 апреля 1996 года: «С некоторых пор я стал бояться смерти. Наше сознание настолько эгоцентрично, что эта фраза воспринимается совершенно однозначно. Если человек боится смерти, то ясно, что своей смерти. Между тем это не обязательно так. Я, например, боюсь смерти своих друзей. Мы уже потеряли Яшу Гуревича, Бэфра, Леву Друскина, и предстоят новые потери, об этом страшно думать. Трагедия людей, доживших до глубокой старости, как Марк Шагал, – это трагедия одиночества: все люди их поколения уже умерли. (У Трифонова есть заметка о Шагале, там есть об этом.)»

И вот смерть – реальность, определенность, близкая неизбежность. Приходится не только думать о ней, но и как-то жить с этой новой реальностью. Первым сообщил ему диагноз незнакомый нейрохирург, смотревший томограмму. Он сделал это достаточно мягко, добавив, что операция привела бы к полной инвалидизации, но можно лечить ускоренными электронами, и тут же позвонил и договорился. Алек как-то потух и спросил только: «Опухоль злокачественная?» – «Об этом речи нет». Он согласился ответить так по нашей с Олей просьбе, так как без биопсии имел на то формальное право. Мы сели в такси, я держала его за руку, рука была вялая. Дома он быстро обрел свою обычную форму, любезничал с сестричкой Юлей, которая делала ему внутривенные, послушно посещал исследования, о которых потом с большим юмором рассказывал, на облучении вел себя так, что очень занятый и немногословный радиолог Сергей Иванович при прощании сказал: «Я счастлив был с вами познакомиться. Никогда не встречал более жизнерадостного пациента и его семьи». При встрече с новыми врачами он всегда говорил: «Я знаю свой диагноз и уверен, что вы меня вылечите». Я уверена, что это был сознательно выбранный стиль поведения, наиболее для него естественный. Он все замечал, что с ним происходило и старался не сдавать позиции – с компьютером, ходьбой, машиной. Только вот в общих разговорах принимал все меньше и меньше участия, отмечая, что они стали ему неинтересны и трудны. Писал дневник, письма. Иногда, еще до больницы, он

спрашивал: «Неужели ты не видишь, что мне с каждым днем хуже?» Но потом давал себя уговорить или делал вид. После отъезда Димы лежал молча весь день. Ужасным потрясением была для него смерть Семы Вайсбурда. Он никогда так не реагировал на смерть близких. Он бросился на кровать, обхватил руками голову и буквально забился в рыданиях, повторяя: «Семочка, Семочка!» И долго лежал, отвернувшись к стене и плача. Плакал ли он только по Семе?

В сентябре он сделал отдельную запись:

СМЕРТИ В СЕНТЯБРЕ

Иофе Венямин – 21.04

Скуратов Олег – 04

Шустерман Эдуард – 05

Зеликсон Борис – 09

Муравин Константин

Чулаки Михаил

Вайсбурд Соломон – 5.09

Даты, кроме последней, неточны, да и смерти не в сентябре. Этот список повторяется в разных его компьютерных записях. И в это же время, он писал замечательные длинные письма о поэзии, злодеях и других отвлеченных вещах, приводил в порядок содержимое на новом компьютере и т. д.

Уже где-то в феврале, все менее и менее адекватный, он все больше отталкивал мысль об опухоли, говоря, что у него пневмония. Мы вынуждены были напоминать ему, так как он норовил выплюнуть драгоценные химиотерапевтические таблетки, и от этого он тускнел на глазах. По этой же причине он ненавидел визиты к нейроонкологу Линецкому и отказывался выполнять все его тесты, хотя прекрасно мог. Последний месяц жизни он стал особенно кроток, все лекарства принимал, всем улыбался, но все больше погружался в себя, хотя бывали необыкновенные просветления. И – ни одной жалобы. Вы знаете, что на смертном одре в ответ на мою просьбу он нежно улынулся из под кислородной маски и трубок.

Перед смертью лицо его было спокойно, просто он стал все медленнее дышать. Умер он с закрытыми глазами, а значит в мире.

Я вас всех люблю. Отпечатайте письма для Мики, Майи, Евсея, Заков.

ЯРКИЕ ОГНИ

Почему я пишу такие письма друзьям и близким, почему именно эти маленькие истории? Алек жил в болезни десять месяцев, и про эти эпизоды можно вслед за Вертинским сказать, что «они как яркие огни горят в его ненастье». А ненастье было огромным и все сгущалось. Но ни одного дня до самой его смерти я не сомневалась, что под этим ненастьем яркое незамутненное небо – его личность. Собственно, всем близким, кто общался с ним регулярно и подолгу (и не только им), это было ясно – выражение его лица, его глаза излучали ум, чувства, доброту, тоску, радость. Он просто постепенно терял способность адекватно выражать их, так же точно, как не умел сделать желаемого движения. Я просила его взять мячик, а он отвечал: «А как? Научи, меня, Котинька». Я пыталась, но рука сопротивлялась, он отнимал ее у меня и складывал руки в неизменном замке. Но тут же, задумавшись или слушая меня, он машинально брал и мячик, и клубнику из миски и отправлял ее в рот. Но когда я предлагала ему поест или попить, он говорил: «Покорми меня», не знал, как взять ложку или кружку, если не удавалось ввести его в какой-то автоматический ритм. Я думаю, что он не утратил способности читать стихи, потому что знал их наизусть, и они вели его. Но сильные эмоции, которых он отнюдь не был лишен, пробивали эту мутную завесу действительно как яркие огни, и тогда наступали прояснения, и он снова был собой – тонко и сильно чувствующий, благородный, умный. Но улыбаться он умел всегда. Воздействие его личности на людей во все этапы его болезни было поразительным –

достаточно прочитать прекрасное письмо Йоси Хадада или увидеть, с какой любовью и уважением относилось к нему большинство окружающих; они всегда обращались к нему, разговаривали с ним, даже если знали, что он не ответит. Чем еще можно объяснить, что арабка – сестра Мервад в Хадассе – всегда гладила его по лбу, когда он был в тяжелом сне, а когда мы попали в то же отделение месяцы спустя, узнала его и поцеловала? Когда Алека, уже крайне тяжелого, увозили из Гило, в палату пришли санитары, среди них громадный араб Набиль. Я поблагодарила их и сказала, что помощь не нужна, но Набиль сказал со слезами на глазах: “We just want to look at Alexander”. И в последней больнице на его смертном одре врачи гладили его и целовали. И не надо думать, что это у них в заводе, врачи здесь куда как деловые, им не до эмоций. Были, конечно, и другие примеры. Я уже упоминала про трех врачей из Хадассы, «лечивших» Алека в разное время и всем своим поведением показывающих, что тратить свое драгоценное время на безмозглого безнадежного старика они не намерены (двое из них были «русские»). Что ж, «разных людей есть, пан Алек», как говорил незабвенный пан Антон. У них свое ненастье.

Я всех вас люблю и целую. Г.

ЮРА

То, о чем я собираюсь писать, никак нельзя назвать прояснениями, скорее затемнениями, но весьма примечательными. В первые месяцы жизни в Израиле Алечка писал замечательные письма, много читал, даже уходя на операцию, взял с собой книгу Эткинда. Но он плохо ориентировался в новой квартире, путал Манину квартиру с нашей, мог заблудиться по дороге к Мане (соседний дом), нередко путал компьютер с телевизором, мобильник с часами, а то и с бритвой, хотя прекрасно всем пользовался. Однажды он спросил: «А почему Юра не приходит? Он ведь ходил ко мне каждый вечер». – «Но Юра же в

России, а мы в Израиле». – «Но 7-я Советская от нас полтора квартала». Дальше шло длинное выяснение географических и топографических деталей. Алек, казалось бы, соглашался, но в конце заключал: «А все-таки ты мне не докажешь, что, дойдя до угла и повернув налево, я не дойду до «Цитрона», а, значит, и 7-я Советская рядом, там, где была». Чтобы кончить с этим, мы шли до ближайшего перекрестка, и он убеждался, что это улица Мидбар Иеуда (Иудейская Пустыня). Реакция была разная, чаще всего: «Я понимаю, что ты, наверное, права, но сердцем я чувствую, что и я прав». Вот то-то и оно, что сердцем. Сердцем, так умевшим любить и дружить. Это происходило много дней и, когда приехал Дима, он и с ним выяснял всю эту географию, которую, кстати, знал прекрасно.

После операции, выходя из пневмонии, он спрашивал: «Я умер?» – «Как же ты умер, когда мы с тобой разговариваем». Дальше шли длинные разбирательства, и вроде я его убеждала, но спустя какое-то время он спрашивал: «А Юра знает, что я умер?»; или: «Ты, наверное, не сообщила Юре, что я умер, иначе бы он пришел». Позже, в Гило, он спросил: «Мне сто лет?» И опять я его разубеждала, но через некоторое время он говорил: «Напиши Юре, что мне сто лет». Что только ему, бедняге, в голову не лезло, что бы только был повод надеяться на Юрин приход.

Я люблю вас. Г.

ПРАЗДНИКИ

Прошли осенние праздники, последние, которые мы праздновали дома и по-настоящему все вместе. В Хануку Алек был уже в Гило. Пурим для меня был самым страшным праздником – Алек уже не вылезал из пневмоний и катался взад-вперед между Гило и Хадассой; накануне мне сказали, что все дело в аспирации (вдыхание пищи из-за нарушения глотательного рефлекса), и надо переходить на питание через зонд, да и то это ничего не

гарантирует. Зонда Алек определенно боялся; по-моему, только его одного. Таких больных кормили отдельно, но иногда, когда возвращались к нормальному питанию, они сидели в переходный период у нас в столовой. Напротив Алека тогда сидела красивая, благородного вида Мириам, часто с зондом. Алек редко задавал вопросы, но тут спросил: «Она не может есть? Никогда не сможет?» Я постаралась ему объяснить. На его глазах были слезы.

Весь вечер я раскладывала на компьютере пасьянс, плакала и думала. Еда была единственным физическим удовольствием, которое ему осталось. И я решила оттянуть эту последнюю потерю как можно дольше, перейдя на мягкую пищу. Странно, назавтра я плясала на веселом Пуриме, как полагается порядочному еврею, невзирая на обстоятельства, и у меня случился тяжелейший приступ гастроэнтерита; с тех пор я два месяца с трудом впихивала в себя по 50 г пищи.

Пейсах был сразу после его смерти. Он, как полагается по закону, прервал нашу шиву – семидневное траурное сидение. В Пейсах все были дома и все делали как надо. С нами был Дима. Было много веселых ритуалов и песен. Длилось это много часов. Когда мы пришли от Манечки домой, я сказала Диме: «Знаешь, а я здорово отвлеклась». Он ответил: «Но ведь так и задумано!»

Из всех праздников для мыслей о главном дается Йом Кипур. В прошлом году мы провели его с Алеком вместе, почти не выходя из синагоги. И были потрясены тем, насколько этот день глубок и светел. Недаром люди, особенно женщины, облачены в белое. В стране необыкновенная тишина, улицы пустынные, не ходит даже личный транспорт, люди постятся. В прошедший Йом Кипур, читая в синагоге по русскому молитвеннику молитвы, слушая псалмы и красивейшие пютоты (средневековые стихи для пения в этот день), я вспоминала прошлый год и наши с Алечкой разговоры. Он был светел, полон надежд. В этом году я вспоминала любимые Алечкины строчки: «Легкой жизни я просил у Бога, \ Легкой смерти надо бы просить». Надо ли? Не открывается ли на этом пути человеку что-то самое важное для него и его близких? И не большая ли это милость, чем мгновенная бездумная смерть?

ДЕТИ И ВНУКИ

Начало этой страшной эпопеи мы встретили с Олей. Она сопровождала нас к врачам и на исследования, возила на лечение, занимала очереди в ОВИР, сопровождала Алека на длинное ночное исследование, не допустив меня, и все это по-деловому, без паники, с улыбкой. А ведь все это время она готовилась к переезду в Америку и пасла Машеньку. Потрясающе вел себя Самир – он тоже был и шофер, и парикмахер, и стояльщик в очередях. Не забывались и развлечения – на день рождения Алека – ресторан на взморье, а там... «Над розовым морем всходила луна». Взаправду. И... «Играла музыка в саду / Таким невыразимым горем». Одно из самых пронзительных воспоминаний моей жизни. Устраивался пикник на Красивых горках, гуляли на островах (Алек уже ходил очень медленно). Есть фотография на фоне Елагина дворца со Светочкой и Борей. Все счастливые, красивые, Алек в нарядной кепочке, скрывающей непривычную лысину...

После страшного перелета, бесконечных ожиданий, тяжестей и пр. мы, наконец, с Маней и Левой едем домой. Пять утра после бессонной ночи и перенапряжения. Алек с трудом ходит от болезни и усталости. Я приготовилась к суете по устройству, поисков необходимых мелочей. Входим в квартиру... и оба плачем. На дверях и в комнатах приветствия, на дверях мезузы, полная меблировка, постели расстелены, холодильник и кухонные шкафчики набиты, стиральная машина, микроволновка, мобильник. На крючочках прихватки и фартук, чистота. А в столовой на столе блюдо с фруктами и любимые Алеком бисли.

В сентябре приехал на осенние праздники Дима. Может быть, мы никогда столько времени не проводили неразлучно. Он был необыкновенно нежен.

В октябре начались больницы, из которых обратного хода уже не было. Весь первый вечер и ночь мы провели в приемном покое с Маней и Левой. Нечего и говорить, что все самое трудное Лева брал на себя. В два ночи он отправил нас с Маней домой, а сам остался до позднего утра. Через пару дней Алек от

громадных доз дексаметазона пришел в страшное возбуждение – не спал, пытался встать, раздевался догола и выдерживал трубки. Приходилось дежурить по ночам. Я была у него весь день, а по ночам дежурили Лия, Лиин Йоси и Элишева, нас с Маней не допускали. Молодым девочкам, к ужасу медперсонала, приходилось видеть деда в чем мама родила, но они и глазом не моргнули и были нежны с ним, чем трогали всех окружающих. Лия с Йоси часто проводили в больницах шабаты (не забудьте: религиозная Лия не ездит по шабатам, а шабат начинается в пятницу после захода), вывозили, когда возможно, Алека гулять. Элишева тогда жила и работала в Тель-Авиве, но сменяла меня на вечер несколько раз в неделю. Если случался какой-нибудь прокол, Элишева могла бросить работу, отменить встречу и неслась из другого города в больницу. Поражала ее скрупулезность в выполнении всех процедур. Медсестры даже жаловались мне, что она проверяет все таблетки и при сомнениях звонит мне, но и восхищались, что эта семнадцатилетняя миниатюрная красавица ни перед чем не постоит ради дедушки. Йося, Шифра и Дина тоже рвались на помощь и бывали очень рады, когда им это разрешалось. Алек путал их имена, за Лией прочно установилось имя Ли, ну и что? У каждой были свои отношения с ним, болезнь не мешала им понимать друг друга. В марте, незадолго до конца, приехала Оля. Алеку трудно было задавать вопросы, но он был очень рад. Оля говорила, что общение было нормальным и что это был обычный Алек. Вот что значит внутренняя близость! И слов не надо. Оля проводила с Алеком все дни, отменив даже мои визиты (я здорово болела животом). В последний перед отъездом день мы уговорили Олю взять машину и помотаться по городу. Я пришла в больницу, и Алек вопросительно посмотрел на меня. Я объяснила про Олю и сказала, что она придет к шести. У него задрожали губы и он поднял лицо. Я уговаривала его, а он повторял: «Да, конечно». А про себя добавлял какими-то своими способами: «Я умираю и никогда ее больше не увижу, я хочу, чтобы она сейчас была рядом, но что поделаешь, ей надо отдохнуть».

Все самые ответственные действия выполнял Лева. Перевозки на исследования в Хадассу, на консультации, прием химиотерапевтических таблеток мы осуществляли втроем, но мы с Маней больше морально. Чтобы Алек не выплевывал таблетки, была разработана целая технология, и только Лева с ней справлялся.

В последний день, когда жизнь пошла на часы, Маня позвонила Лева и Элишеве, чтобы она не уезжала на шабат из города. Оба бросили работу и приехали. Элишеве мы не советовали, но она приехала и была до конца, тихая, сосредоточенная на Алеко и приборах, без рыданий и обмороков.

На похоронах были все, включая братика Борю. Лева в течение года каждый день читал кадиш.

ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ

Многие из вас знают, что так назывался миленький ресторанчик в стиле «рюс» рядом с нашим домом. Мы справляли там Золотую свадьбу. Кончилась волнующая подготовка, прилетели Маня и Дима, и вот мы вчетвером стоим у обильного и нарядного стола и ждем дорогих гостей. Вы пришли как-то все разом. Зал вдруг стал заполняться красивыми элегантными немолодыми интеллектуалами с лицами, излучающими благородство и доброту. Все как один и все разные. Официанты раскрыли рты и приросли к полу, а потом много раз говорили: «Какие у вас гости!» Я сама засмотрелась на вас. Здесь, в чужих стенах, вы были по-новому прекрасны. И цветы. Такие букеты я видела только в России. И во главе стола ОН – старый красавец с седой шевелюрой и лицом поэта. Потом были великолепные и остроумные тосты, замечательные стихи, смех, песни, танцы под старые танго и Окуджаву. Сияющие лица, любовь... Да полно, было ли это? На каком свете? «Было, Галенька, – скажете вы, – конечно же, было!»

И никто не знал, что назавтра ЕМУ назначена самая трудная и самая важная в жизни дорога, и что он пройдет эту долгую дорогу достойно.

Над Масличной Горой
Журавли пролетели,
Направляясь на юг
Из России в Египет.
Ты лежишь в своей жесткой
Глубокой постели,
На груди твоей
Мраморный параллелепипед.

На тебе отдыхает
Перелетная птица.
Слышишь? Ей хорошо:
Одиноко и сладко.
Где твой дом, журавлиха?
И что тебе снится?
Не ответит, не глянет –
Такая повадка.

Это странное место,
Сестра моя птица:
Выше – русская церковь,
Ниже – купол Омара.
Надо было, наверно,
В России родиться,
Чтобы здесь почивать
В ожиданье шофара.

Камни, белые камни –
Ни травы, ни цветочка;
Мимо птицы летят –
Запятые да точки.
И парит над Кедроном

*Под малиновым звоном
То ли центр Вселенной,
То ли мертвая зона.*

*По легенде, именно с кладбища на Масличной Горе начнется
воскрешение мертвых под звуки шофара (трубы).*

FALLING DOWN

*Falling down, breaking wings, shedding feather
I am bound to you. You know why:
To sleep together, to eat together, to live together,
Together to die.*

*Impossible. You are struggling upward and I –
I'm falling down, breaking wings, shedding feather...*

*Вниз летя, крылья ломая, теряя перья
Я к тебе направляюсь, ты знаешь зачем:
Вместе спать, вместе есть –
Навсегда, насовсем
Невозможно. Ты ведь несешься ввысь, а я –
Падаю вниз, крылья ломая, теряя перья.*

МИТОХОНДРИЯ (Заключение)

В городе Бостоне (штат Массачусетс) при Гарвардском университете есть замечательный Музей Истории естествознания. В нем есть раздел, посвященный ботанике, где растения и их части представлены в увеличенном виде стеклянными моделями большой красоты и сделанными исключительно искусно. Например, клевер: огромная модель, с большими красивыми тычинками, которые, как и он сам, изображены дополнительно еще в натуральную величину на рисунке. Что скажешь, красиво! Но зачем? Затем, что это искусство, и неважно, что, будучи купленной и поставленной в красивый стакан на буфет с салфеточкой, такая модель – настоящий китч! Впрочем, для Мадонны Рафаэля, обрамленной в золотую рамку и повешенной в квартире на стену, тоже трудно подобрать категорию. Поэтому больше не будем об этом.

Прогулявшись час по этой красоте, вы выходите на последний этаж, и там вам предлагается посмотреть состав клетки. Первое изображение – митохондрия, которая играет в клетке какую-то важную электрическую роль, увеличенная в десять тысяч раз. Рядом – ее изображение, как она видна под микроскопом. Увеличенная митохондрия очень красива, и если что-нибудь и напоминает, то северное сияние на Кольском полуострове или Ниагарский водопад во время циркулярного солнечного затмения – два чуда света, которые мне довелось видеть самой. Опять-таки, зачем?

Тут я себя одергиваю. Дело в том, что я это знаю с самого рождения, а может быть, и до. Это и есть конец, а может, начало?

Фотографии

1937–2014



1. Галя Равдель-Маршова. Ленинград, 1937 г.



2. Ленинград, 1939 г.



3. Ленинград, 1946 г.



5. С кузеном Борей, 1937 г.



4. Кузина Наташа, 1939 г.



6. Моя мама, Фанни Абрамовна, приблизительно 1940 г.



7. Моя мама, Фанни Абрамовна, приблизительно 1960 г.



9. На даче с годовалым сыном Димой. 1954 г.



8. С Алеком, бабой Раей и новорожденным сыном Димой. Ленинград, 1953 г.



10. Сын Дима в 8 лет, 1961 г.



11. Дочь Маша. Ленинград, 1963 г.



13. Поэт Лев Друскин



12. На Кубе. 1973 г.



14. Сын Дима. США, 1993 г.



15. Дими́на жена Света. США, 2000 г.



17. С. Алеко́м. Беер-Шева, 1990 г.



16. Алек. Петербу́рг, приблизительно 1990 г.



18. До́чь Ма́ша и ее муж Ле́ва на моги́ле Бро́дского.
О́стров Сан-Мике́ле (Вене́ция), 2004 г.



19. Внучка Оля. США, 1996 г.



21. Внук Йосеф Китросский с женой Мали, Израиль, 2008 г.



20. Внучка Маша, США, 2012 г.



22. Внучки Дина, Шифра, Элишева и Лия Китросские. Иерусалим, 2011 г.



23. Внуки Нехемия и Гедалия Китросские. Маале Адумим, 2008 г.



25. Внучка Оля с правнуком Александром. США, 2012 г.



24. Брат Боря Равдель с женой Леной. США, 2014 г.



26. Внуки Нехемия и Гедалия Китросские. Близнецы-солдаты.
Маале Адумим, 2014 г.



27. Правнук Урия Китросский. Израиль, май 2014 г.



29. С правнуками. Слева – Урия, справа – Александр. Израиль, 2014 г.



28. Правнук Александр Хаббл. Израиль, май 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Энциклопедия русской жизни

**Семейный шуточный альбом,
сделанный к 80-летию Адольфа Равделя**



АДОЛЬФ

РАВДЕЛЬ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОЙ ЖИЗНИ

* 1980 *



I

Хвала вам, Роза и Аркадий!
 Потомков ваших – легион.
 Нехватит даже ста тетрадей
 Для исчисления их имён.
 Но самый первый из потомков,
 Кто о себе заявит громко,
 Рождённый века на заре
 (А если точно – в ноябре),
 Был Дуся Равдель.

Что за дуся!
 С глазами, грустными вполне,
 Сидит он с Исей на окне –
 Дитя совсем в еврейском вкусе.
 В те годы был он слишком мал,
 Марксизм ещё не понимал.

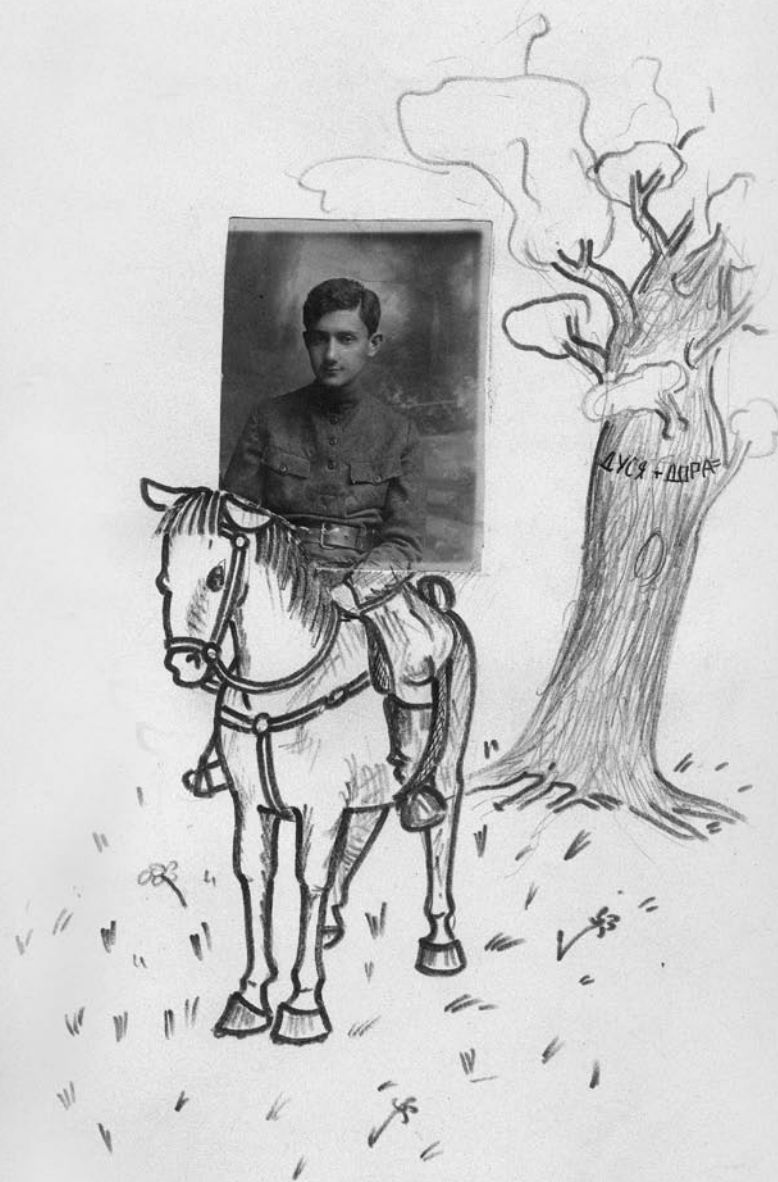


Царизма гнёт идёт на убыль.
Процентный ценз преодолев,
Он тем прославил Мариуполь,
Что грыз гранит наук, как лев.

Вот полюбуйтесь-ка на это:
Читает вроде он газету,
Но ухмыляться бы не стал,
Не изувивши „Капитал“.



А в годы русского раздора,
Самодержавие князя,
Вскочил он лихо на коня,
Чьё имя, кстати, было Дора.
(Занятно, что тогда в марксизм
легко влетался сионизм.)





III

Герой нас не осудит, если
 Решимся мы включить в роман
 Его портрет в кагалке-кресле
 Работы Розы Зеликман.
 В него вглядеться нужно зорко:
 Ещё не снята гимнастёрка,
 Но взгляд уже направлен в даль,
 И в нём — глубокая пегаль.
 Похоже, тем-то он расстроен.
 А может быть, наоборот,
 В нём голос внутренний поёт:
 „Мы наш, мы новый мир построим“?
 Что в мыслях у большевика,
 Нельзя сказать наверняка.



IV

Шли годы бурь. Порыв мятежный
Занёс героя на химфак.
Потом он химией прилежно
Травил и оживлял собак.



А где собаки те зарыты?
Под кафедрой химдымзащиты?
А может, не при нём здесь дым,
И их могила – НИИХим?

Пора сказать, что в годы эти
(Процессы, съезды, голод, план,
Раскрепощение крестьян)
По-прежнему рождались дети.

Девзонки скоро подрастут
И дружно песенку спойут.



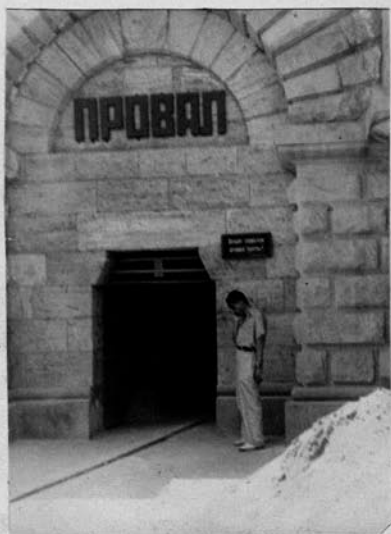
Песня девушек

Наш Киров любимый,
Наш вождь дорогой!
Убит он злодейской фашистской рукой.
Хоть нашего Кирова нету на свете,
Знают о нём и взрослые, и дети.
Хоть нашего Кирова нет на земле,
Его не забудет Сталин в Кремле.



—
V
—

Карьера хитика на взлёте,
Но вождь народов не дремал.
.....
И в биографии — провал.



Так в Дом Большой препровожден —
Туда, где ждет его параша,
Где нары, вошебойки, шмон,
Где цирики, баланда, каша.
.....
Друзья народа в гепею
Приучены к борьбе не даром.
И бой ночной ему дают...
А утром ждут грузы по нарам —

И в нетерпении они
Ему кричат: „Звони, звони!“

—VI, —VII, —VIII, —IX

.....
.....

* Текст восстановлен при участии сотрудников Литературного Института



—
X
—

Издревле говорят в народе —
Не зарекайся от тюрьмы.
Но, как ни странно, на свободе
Героя снова видим мы.
Смотрите, как он свеж и весел!
Спадают брьюки с тощих гресел!
Верблюжий свитер греет грудь,
И можно охнуть и вздохнуть.



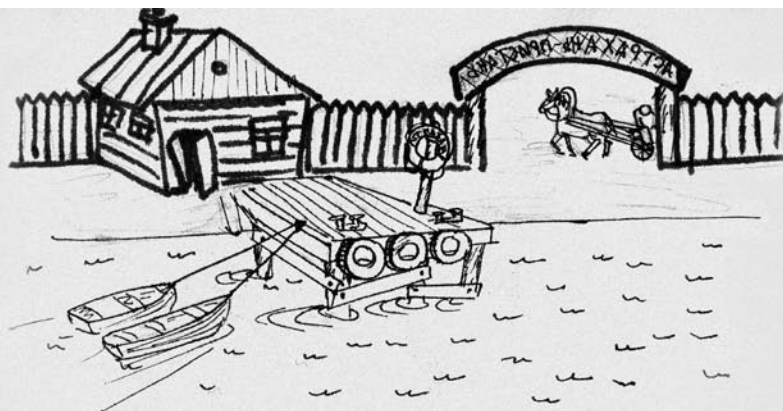
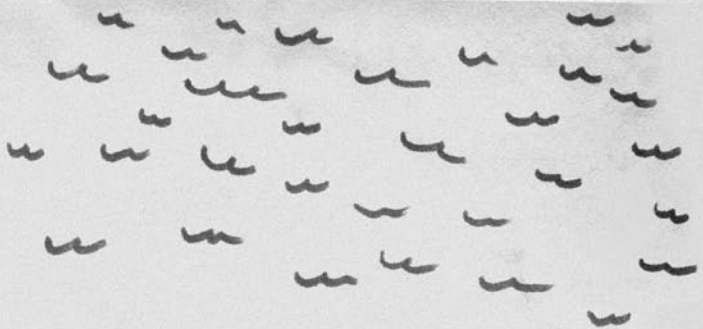
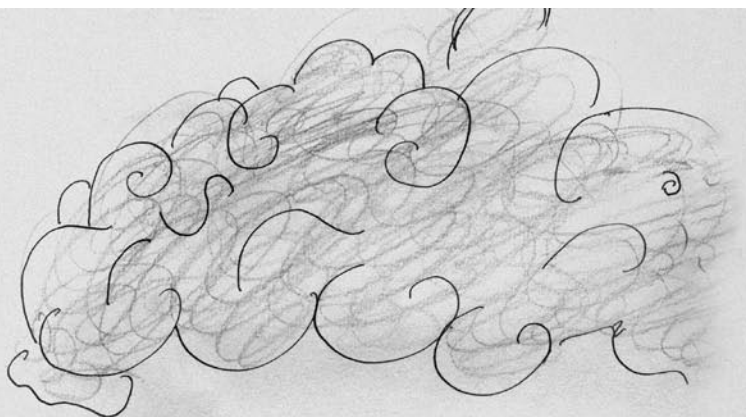
Взглянуть на фото не хотите ль?
За месяц отдохнув в Крыму,



На ВМА сменив тюрьму,
Герой опять
Затянут в китель.



Но дни покоя соотенч —
Лишь год остался до войны.



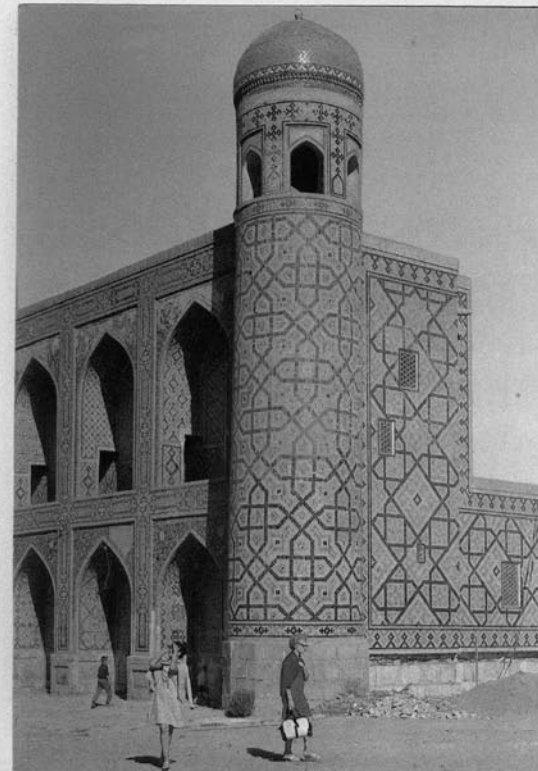
XI

Не всё скакать ему на Доре
Иль на Шпалерке сажковать.
Пришла пора на Чёрном море
Завесы дынные пускать.
Работал он с утра до ночи
С дымами, газами и прогим,
А после с ночи до утра
Ловил он в Волге осетра.
Но тот не шёл. И, чтобы шоблу
Голодных женщин накормить,
Он стал ловить, солить, сушить
Сазана, сельдь, тарань и воблу.
Но в Астрахань пришла война.
Ах, вобла, где теперь она?



XII

Тимура древняя столица
 Ждала отважных морзков.
 Пришлось герою поселиться
 В стране верблюдов и песков.
 Под сенью грязного дувала
 Он раздувал мангал, бывало,
 Лепил кизик и спину гнул,
 Кромсая твёрдый саксаул.
 Науку двигать неустанно
 При всём при том не забывал
 И кадры морзков ковал
 Невдалеке от Регистана.
 Они учителем горды.
 Алаверды, алаверды!



XIII

Проходит всё, и даже войны.
И возвратсь к родной Неве,
Герой наш мог бы спать спокойно,
Дав отдых буйной голове,
Когда б не властное стремление
Познать законы испаренья.
Зима ли, осень ли, весна —
Готов работать он без сна.
И вот — блестящая защита,
Полковник он и кандидат,



И орденов сверкает ряд,
И все пути пред ним открыты —
Но тут служака — замполит —
Ему сказал: „Космополит!“

XIV

И снова — годы процветанья:
Космополиты, стукачи,
ВАСХНИЛ, враги языкознанья,
Антисемиты и враги.
Прощай, военная карьера!
Обратно смена экстерьера:
Взамен мундира и погон
Надел пиджак и свитер он.



Е. А.
равделб

Но в сумрачные годы эти
(кому-то рай, кому-то ад)
опять, как двадцать лет назад,
рождаются, хоть тресни, дети.

Сын появляется на свет,
А следом - внук.
Герой наш - дед.



XV

Космополиту в Техноложие
Местечко тёплое нашли.
Он стал известен понемножку
Во всех концах родной земли.
Профессор он. Чего же боле?
Есть разгуляться где на воле!
Он в педагогике - талант,
Пред ним трепещет аспирант.





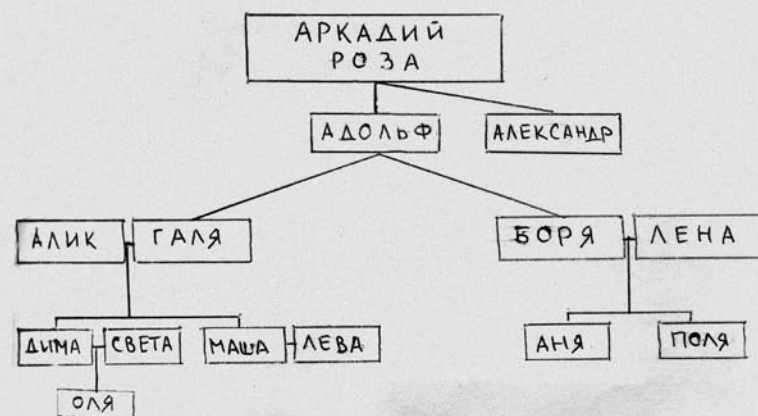
На лекции его гурьбою
Съезжаются и стар и млад.
А как он делает доклад!
А как прекрасен он собою!

И мисс Физхимиз сама
От юбилера без ума!



XVI

Кинетика – его подруга,
Диффузия – его сестра.
Однако родственного круга
Теперь коснуться нам пора.
Его потомков список длинный
Между Галиной и Полиной
Достойн нашего пера,
Но их – десятка полтора.
Кому он дед, кому он прадед,
Кому он тесть, кому отец,
Кому он свёкор, наконец.
Строфа короткая не сладит
С тем, что прибавить должно нам
К его отмычкам и гинам.



XVII

Герой наш в творческом расцвете.
Он полон свежих сил – и вот
Барьер восьмидесятилетия
Легко, как юноша, берёт.

Всегда он занят, вечно в деле,
Здоровый дух в здоровом теле,
А как с марксизмом у него?
Ответим прямо – ничего.

Да, биография героя
Вместила весь двадцатый век.
Он – современный человек,
Прошедший через розги строз.

За этот жизненный успех,
Потомки,
выпить вам не грех!



